

Эдуард
ТОПОЛЬ



Московский полет

Эдуард Тополь

Московский полет

«Эдуард Тополь»

1990

Тополь Э. В.

Московский полет / Э. В. Тополь — «Эдуард Тополь», 1990

ISBN 978-5-17-068712-1

Возвращение на Родину после долгих лет эмиграции... Чем-то оно обернется для знаменитого режиссера и писателя? Радостью? Или чередой опасных приключений, в которых каждое последующее событие – еще более странное и невероятное, чем предыдущее, в которых рискуешь – как дышишь, а способность удивляться теряешь весьма скоро...

ISBN 978-5-17-068712-1

© Тополь Э. В., 1990
© Эдуард Тополь, 1990

Содержание

Часть первая	5
1	5
2	8
3	12
4	15
5	18
6	29
7	41
Часть вторая	47
8	47
9	53
10	59
11	65
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Эдуард Тополь

Московский полет

Часть первая

1

В баре было полутемно. За стойкой, на высоких табуретах, сидели два мужика, один из них в тexasской шляпе и высоких рыжих бутсах, другой – в шортах и черной безрукавке с надписью «Давайте уьем всех адвокатов!». Они пили пиво и смотрели бейсбол по телевизору.

Я сел на крайний табурет, сказал толстой барменше-пуэрториканке:

– Бренди, плиз.

– What? – спросила она.

– Бренди... – повторил я.

– What?

Она наклонилась, положив передо мной на стойку свои пудовые испанские груди.

– Бренди, – сказал я в третий раз, внутренне закипая.

– What does he want [Что он хочет?]¹ – повернулась она к двум мужикам. – I don't understand [Я не понимаю].

Я почувствовал, что побледнел, но, сдержав себя, сказал:

– Би – ар – эй – эн – ди – вай.

Тут барменша посмотрела на меня с еще большим недоумением:

– What? What?

Я психанул, взял у нее из нагрудного кармана авторучку и написал на салфетке:

BRANDY

– He wants brandy [Он хочет бренди], – прочел барменша тот, кто хотел убить всех адвокатов.

– О, бренди! – воскликнула барменша и отошла с таким видом, словно я говорил с ней по-китайски.

Конечно, она принесла мне рюмку бренди, но это уже не помогло мне. В этой ё... Америке даже безграмотная пуэрториканка считает меня человеком второго сорта, поскольку за десять лет я не научился говорить слово «бренди» так, как она. А как я сказал, ф... йо мазер! Бренди есть бренди – или нет?

Я залпом выпил это вонючее бренди, швырнул на стойку три доллара и ушел, хлопнув дверью. И с узкого тротуара сразу шагнул на мостовую, но тут же испуганно отпрянул – мимо, с оглушительным воем и ослепив меня фарами, промчалась машина, потом – вторая, третья.

– F... you! [Вашу мать]!.. – громко крикнул я им и услышал хлопки петард, а вдали, над Бостонским заливом, в черноте неба вдруг рассыпались огненные шары фейерверка. Я вспомнил, что сегодня 4 июля и, наверно, там на набережной, среди праздничной публики, смотрят сейчас фейерверк Лиза и Ханочка. И я с ненавистью сказал этим огненным шарам фейерверка: – F... you too!

И пошел прочь – к причалу яхт-клуба, к темной воде, от которой пахло гнилыми крабами. Отсюда не был виден этот сраный Бостон с его праздничным фейерверком, потому что

¹ Для удобства читателя здесь и далее перевод английского текста дан рядом в квадратных скобках. (Издатель.)

огромный утес, как верблюжий горб, торчал почти на берегу и перекрывал перспективу. Днем во время отливов вода тут отступает настолько, что можно посуху пройти на этот утес, и я часто приходил сюда с дочкой; мы называли этот утес «Ханочкин остров». Лежа на теплом граните, я рассказывал ей про собак, кошек, воронят и ежей, с которыми дружил когда-то, в своей прежней жизни – в России...

А по ночам на этом Ханином острове устраивается молодежь – любители пива, марихуаны и рок-музыки. Но сейчас все они там, на празднике, и я мог легко приступить к тому, что задумал. Однако эта сволочь барменша выбила меня из колеи, я был так взбешен, что уже не мог топиться. Да, да, наверно, в бешенстве можно выброситься из окна или вскрыть себе вены, но топиться нелепо – это я понял сразу, как только пришел на берег.

Но куда мне деться? Как жить? Десять лет я писал книги об империи зла с такой страстью желчного еврейского сердца, что советские газеты утверждали, будто их распространяет ЦРУ. Подобные комплименты поднимали меня в собственных глазах, и моя работа казалась мне борьбой Давида с Голиафом. Но теперь Голиаф рухнул и книги об издыхающем пугале советской империи уже никому не нужны – впереди тупик. И вообще, говорил я себе в ожесточении, ты стал писателем на волне холодной войны, а теперь холодная война кончилась. И кончились твои гонорары, и спрос на тебя кончился даже в твоей собственной семье! Но разве ты писал настоящую литературу? Ведь настоящая литература – это когда про людей, а не про империю.

И вдруг...

«Моя дорогая, моя дорогая дочка! – вдруг написал я мысленно. – Сегодня тебе исполнилось восемнадцать лет, банковский клерк поздравит тебя с днем рождения, проведет в Safety Deposit², откроет мой ящик и достанет эту Рукопись. И ты наконец узнаешь правду – правду, только правду и ничего, кроме... Ты узнаешь, почему мы разошлись с твоей матерью и почему ты осталась без отца...»

Да, именно так! – решил я у черной воды Бостонского залива, пахнувшей дохлыми крабами. Я не покончу жизнь самоубийством, пока не напишу эту Книгу! Это будет роман-письмо самоубийцы, которое дойдет к дочери через тринадцать лет. Вся история нашей эмиграции – вся наша еврейская дорога из России в Америку через Австрию и Италию под конвоем австрийских солдат и итальянских карабинеров, которые охраняли нас от палестинских террористов, и моя первая встреча с Лизой, и даже наша с ней первая ночь, – все будет в этом письме, я ничего не скрою от дочери. Это будет мой лучший фильм на бумаге! И если сегодня Лиза забрала у меня дочку, то через тринадцать лет эта Книга вернет мне ее – даже если меня уже не будет в живых! А меня не будет, – ожесточенно и обрадованно подумал я, – не будет, это уж точно! Ведь когда я допишу эту Книгу и отправлю рукопись в банк, что же мне еще останется делать, как не покончить с собой?

И плотная ткань будущего романа, полная драм и комедий эмигрантской жизни, вдруг ясно развернулась передо мной на темной глади Бостонского залива, и моя личная история пролегла по воде, как лунная дорожка, которая, завораживая и колдуя, тянет вас на смертельную глубину. И впервые в жизни я не пожалел, а обрадовался, что я писатель. Кто еще может так отомстить жене?!

Радуюсь своему замыслу, я прямо тут, у воды, стал набрасывать в уме план книги: первая глава – выезд из СССР, шереметьевская таможня, где издеваются над эмигрантами. Вторая глава – полет в Вену в сопровождении гэбэшных бугаев, которые даже в самолете следят за каждым жестом русских эмигрантов. А третья глава...

Но третью главу я не успел продумать: рядом со мной в масляной черноте июльской ночи вдруг ослепительно вспыхнули мощные фары и цветная вертушка полицейской машины – прямо мне в глаза.

² Комната для хранения личных вкладов.

Я встал и пошел с пляжа, неся в себе новый замысел, как трепетную свечу. Но тут же услышал мужской радиоголос:

– Эй, ты! Стой! Не двигайся!

Я остановился. Правая дверца машины открылась, и темная фигура, слепя мощным фонариком и хрустя ботинками по песку, стала медленно приближаться. В опущенной правой руке этой фигуры я даже в темноте угадал пистолет.

– Don't move, – сказала фигура. Голос был женский, с негритянским тембром.

Я не двигался.

Фигура замерла в трех шагах. За ее спиной в машине сидел еще один полицейский и что-то говорил в микрофон радиотелефона.

– Как зовут? – спросила меня баба-полицейский.

Я назвал.

– Где живешь?

– Два квартала отсюда...

– Адрес!

Я сказал свой адрес.

– Что ты здесь делаешь?

– Праздную... – усмехнулся я.

– Празднуешь что? – требовательно, как ворона, каркнула она.

Я пожал плечами и сделал неопределенный жест рукой, который она тут же оборвала окриком:

– Не двигайся! Кругом!

Я повернулся.

– Подними руки! Раздвинь ноги!

Я поднял руки и расставил ноги.

Она осторожно подошла ко мне сзади и положила на землю фонарик так, чтобы он освещал всю мою невзрачную фигуру. Затем одной рукой похлопала меня сначала под мышками, потом – по карманам джинсов и, наконец, промеж ног и ниже – до щиколоток. Рука у нее была жесткая, как палка, и вообще мне вдруг показалось унижительным, что молодая черная баба шлепает меня по яйцам и другим местам – меня, писателя, который только что обдумывал роман века!

– Ладно, – сказала баба-полицейский. – Можешь повернуться.

Я возмутился:

– С чего это ты меня проверяешь?

– Мы ищем кой-кого, – примирительно сказала она, поднимая свой фонарик. – Ты русский?

– Нет, я еврей! – возразил я с вызовом, не принимая ее примирительного тона.

– Не важно. Все евреи из России, – сказала она небрежно. – Можешь идти. Спокойной ночи.

И ушла к своей вспыхивающей мигалкой машине, а я остался в темноте, гадая, как она могла определить, что я из России. Неужели это русское клеймо вибрирует даже в тембре моего голоса, как в ее голосе – клеймо негритянской крови?

2

Домой идти было незачем, самоубийство я отложил, а в баре даже барменша-пуэрториканка отнеслась ко мне как к недоразвитому.

Я ожесточенно шагал по тусклым марблхедским улицам – прочь от набережной, от фейерверка, от праздничной жизни. Мне нет там места. Мое место на свалке макулатуры, среди мусорных урн и бездомных нищих. Но – вашу мать! – именно там, на обочине жизни, я напишу свою Главную книгу!

Подстриженные газоны. Флаги в честь Дня независимости. Двухэтажные особняки. «Вольвы» и «форды» на парковках. Уютные огни за шторами, запах барбекью с задних дворов, голоса теледикторов и смех телешоу... Черт возьми, куда я иду? В моем доме на углу Розен-стрит – черные окна, пустой гараж и тихо, как в могиле. Я прошел мимо, отшвырнул с тротуара во двор цветной Ханин мяч. Этот дом стоит двенадцать сотен в месяц, но он не принес мне счастья. «О, это настоящий дом любви! – говорила хозяйка, когда мы с Лизой пришли смотреть его два года назад. – Моя мать прожила здесь тридцать лет, это были лучшие годы ее семейного счастья!»

F... your mother's love house [В гробу я видел дом любви твоей матери]! Именно здесь ко мне каждую ночь приходит огромная, как пантера, черная кошка, прыгает на грудь и когтями рвет мое горло так, что кровь брызжет из вен.

Я свернул за угол, вышел на Атлантик-авеню и через пару минут вдруг оказался перед ярко освещенными окнами нашей синагоги. Я остановился. Кто может быть в синагоге поздним вечером в День независимости?

Я пересек подстриженный газон и подошел к окну. В молельном зале сидели двое – ребе Зальц, которого я знаю давно, и незнакомый мне лысый толстяк. Они сидели за Торой, но не молились, а что-то весело обсуждали, жестикулируя руками. Десять лет назад, когда я приехал в Америку и ходил по Нью-Йорку в надежде встретить миллионера и соблазнить его своим гениальным, как у каждого эмигранта, кинопроектом, этот ребе Зальц дал мне первую работу. Не знаю, как в других странах, но в США человека, который дал вам первую работу, помнят всю жизнь – как первую женщину. Тогда, летом 1979 года, кто-то сказал мне, что еврейской организации «Призыв» нужен русский редактор, и так я попал на угол Двадцать пятой улицы и Пятой авеню, в офис Зальца.

Зальц – высокий, похожий на грача 40-летний раввин в отличном темно-синем костюме с узкой д'артаньяновской бородкой, большим простуженным носом и перхотью на плечах – глянул на меня неожиданно весело и открыто. Перед ним стоял худой и голодный русский еврей, потный от августовской жары, с лица которого даже бритвой «Шик» невозможно было сбрить отчаяние первых месяцев эмиграции. Он сказал:

– Я знаю несколько русских слов – «еп твой мать», «жидовска морда» и «п...».

От изумления у меня отвисла челюсть: наконец хоть один американец сразу, с первых слов, заговорил со мной как с равным. И не начал рассказывать мне о том, как в двадцатых годах его родители-эмигранты работали в Америке за полдоллара в день, и потому мне нужно начинать с того же.

Уже через минуту я узнал, что ругаться по-русски ребе Зальца научили лучшие специалисты в этой области – киевские гэбэшники. Оказалось, что пять лет назад Зальц побывал туристом в СССР и, находясь в Киеве, поехал в Бабий Яр, постелил там на земле коврик и стал молиться в память о тех 200 тысячах евреев, которых немцы расстреляли здесь во время второй мировой войны. Но не успел Зальц дочитать Кадиш, как подкатила черная «Волга», киевские гэбэшники бросились на него, скрутили, привезли в подвал украинского КГБ и ровно трое суток били и пытали голодом и холодом, требуя признания в том, что он американский

шпион. За трое суток ему сломали два пальца на левой руке, научили материться по-русски и сделали из него профессионального антисоветчика – вернувшись в США, Зальц немедленно основал организацию «Призыв» и на тонкой папиросной бумаге стал печатать еврейские религиозные брошюры на русском языке, а потом по каким-то секретным каналам засылать эти брошюры в СССР.

Я тут же зауважал этого простуженного грача. Но когда открыл одну из его брошюр, мое лицо свело, как от зубной боли: они были написаны жутким языком и с таким количеством грамматических ошибок, что вряд ли кто-то в России читал их дальше второй строки.

– Well, – сказал Зальц, увидев выражение моего лица. – Конечно, это нужно слегка подредактировать. Ты сможешь? Я буду платить тебе сто пятьдесят долларов в неделю.

Я понимал, что эти книжки бесполезно редактировать – их нужно писать заново. Но в это время я жил на доллар в день, и сто пятьдесят в неделю были для меня как контракт с Голливудом. Потом за пять следующих недель я прочел в библиотеке манхэттенской иешивы штук сорок книг по еврейской религии, изданных в России и в Польше еще в двадцатые годы, и написал современным русским языком пять брошюр – о еврейских праздниках, о кошерной пище, о субботе и еще толстый сборник избранных еврейских сказок из «Агады». После этого Зальц сказал, что я обеспечил их работой на год вперед, выдал мне последний чек, и я снова оказался на улице. Но моя маленькая брошюра «Шабат в еврейской жизни» довольно лихо разошлась тогда в СССР по каналам еврейского самиздата, и Зальц запомнил меня. Когда в прошлом году я случайно встретил его в аэропорту Логан, он сказал: «О, мистер Плоткин! Я слышал, вы стали автором бестселлеров! Где вы живете? В Беверли-Хиллз?» Я сказал, что как раз ищу какое-нибудь жилье в Бостоне. «Только не в Бостоне! – воскликнул Зальц. – Летом вы задохнетесь в Бостоне! Настоящий писатель должен жить в Марблхедде! Поезжайте и посмотрите сами – там море, там пять яхт-клубов. И у меня там синагога!»

Он был прав: настоящий писатель действительно должен жить в Марблхедде, иметь свой дом на берегу моря, пару «ягуаров» в гараже и яхту на Грет-Нек. А поскольку у меня нет ни дома, ни «ягуара», ни яхты, то какой же я на х... настоящий писатель?

Я отошел от окна синагоги и собрался двинуться прочь, как вдруг новая идея пришла мне в голову. Я усмехнулся. Черт возьми, у меня же есть вопрос к ребе Зальцу! Очень серьезный и неотложный вопрос!

Затоптав ногой сигарету, я открыл тяжелую дверь синагоги.

– О, мистер Плоткин! – воскликнул ребе Зальц и повернулся к лысому толстяку. – Познакомьтесь, это наш писатель, он написал книгу «Шабат в еврейской жизни».

Тем самым Зальц дал понять, что все остальное написанное мною – не книги. А вот тоненькая брошюра о субботе...

Но я не обиделся, он прав: все, что я написал, – действительно дерьмо, и не о чем разговаривать. Между тем лысый толстяк повернул ко мне круглое бритое лицо и стал разглядывать меня своими маленькими глазками, рыжими, как новенькие пенни.

– Познакомьтесь, – сказал мне Зальц, – это ребе Голд из городского раввината.

– Очень хорошо, – сказал я решительно. – Значит, мне повезло: вас тут даже не один, а два раввина! Вы можете мне сказать, в чем секрет семейного счастья?

Они переглянулись в некотором смятении.

– Ну... – Я попробовал смягчить свой требовательный тон. – Помню, когда я писал еврейские брошюры, где-то вычитал, что каждый человек умирает один раз. Но если человек несчастливо женат, он умирает каждую ночь?..

– Это в Торе написано, – сказал ребе Зальц осторожно и чуть откинулся на стуле, как врач, принимающий своего первого шизофреника.

– Точно! – сказал я. – Но я нигде не читал, в чем секрет семейного счастья. Не может быть, чтобы в еврейской религии не было ответа на этот вопрос.

– А вы почему спрашиваете? – вдруг спросил ребе Голд, обменявшись взглядом с ребе Зальцем. – Просто из любопытства или у вас есть личная причина?

– Ну, и то и другое... – ответил я нетерпеливо.

Накануне ночью, с трудом отодрав от себя черную кошку-пантеру, я проснулся в холодном поту, с жутким сердцебиением и, лежа в постели, стал думать о своей неудавшейся семейной жизни. Почему она развалилась? Я вдруг физически ощутил, что вокруг меня, в звездной черноте марблхедской ночи, сотни людей тоже не спят, но они любят друг друга, занимаются любовью, обнимают друг друга, целуют. Так в чем же секрет их семейного счастья?

И тут – я даже сел рывком на кровати – я разом придумал целый кинофильм! СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ! Конечно! – воскликнул я мысленно и тут же схватил сигарету. Почему у меня разбилась семейная жизнь, это никому не интересно. Но вот почему у других не разбивается – это может быть интересно миллионам! И значит, нужно пройти с кинокамерой по синагогам, церквям, костелам и мечетям и спросить у знатоков национальных традиций: в чем секрет семейного счастья? Наверняка у каждого народа и в каждой религии будет свой ответ. И можно проехать по разным странам – Японии, Китаю, Тибету – и записать правила семейной жизни древних народов. А потом взять интервью у знаменитых счастливых семейных пар – у Рональда и Нэнси Рейган, Пола Ньюмана и его жены, Джорджа и Барбары Буш, Роберта Рэдфорда...

Зальц не отвечал на мой вопрос, а выжидательно смотрел на Голда, передавая ему как старшему право на ответ. Так два хирурга стоят над неизлечимым раковым больным, не решаясь приступить к заведомо безнадежной операции, а больной глядит на них в упор и требует: режьте! Мне уже все равно не жить, так режьте же, черт возьми!

И тогда ребе Голд, член городского раввината, потрогал пухлой рыжей рукой воротник своей рубашки и сказал:

– Ну-у-у, во-первых, секрет семейного счастья – это секрет! А во-вторых...

Дальше он стал рассказывать, что по еврейскому закону нужно ежемесячно 12 дней воздерживаться от половой жизни, и тогда жена приходит к мужу свежая, как невинная девушка. Что, по статистике, в религиозных семьях значительно меньше разводов, чем в нерелигиозных. Ну и все такое прочее, что я уже не слушал, – это я и сам писал, когда редактировал в «Призыве» брошюры о еврейской религии. А вот ответ раввина, что «секрет семейного счастья – это секрет», развеселил меня до истерики – это была последняя капля в психическом перенапряге этих дней.

Я вышел из синагоги, сел на подстриженный газон и стал хохотать, как сумасшедший. Да я и был в эти дни сумасшедшим – чего там! Каждый из нас бывает таким: одни – минуту, другие – несколько дней, третьи – всю жизнь. И не говорите себе, что вы не сумасшедший, никогда не говорите – просто ваша минута еще не пришла...

«Секрет семейного счастья – это секрет!»

Вашу мать!

Я пришел за Откровением, за Спасением, за Словом Божьим, а оказывается – это секрет! Моя жизнь и так превратилась в ничто: я теряю семью и единственную дочку, я пишу книги, которые уже никто не помнит, кроме московского КГБ, а когда я придумал сюжет про нормальных людей – это секрет!

Я катался по траве и хохотал, как плакал...

– Папа! Папочка! – вдруг услышал я голос дочки.

Я сел, вытирая с лица слезы смеха.

Рядом, в пяти метрах, стояла моя бывшая «тойота-корола», за рулем сидела моя бывшая жена Лиза, а с заднего сиденья через открытое окно выглядывала моя пятилетняя дочка Хана – обе в купальниках и резиновых шапочках.

– Папа, что ты там делаешь? Ты такой смешной! Ты поедешь с нами на пляж? Мы едем купаться перед сном!

Я смотрел на дочку, пытаюсь понять, откуда она тут взялась и о чем спрашивает. Но Лиза не стала ждать моего ответа. Перед ней на траве газона лежало Ничто – сумасшедший, которого она уже списала из своей жизни. Презрительно отвернув голову, Лиза дала газ, и машина, чиркнув колесами по асфальту, покатила прочь по Атлантик-авеню. Маленькое белое личико Ханочки удивленно смотрело на меня через заднее стекло.

3

И вот это состоялось – мы складывали вещи. Мы складывали их в картонные фруктовые коробки из Смарт-маркета. Я – в своей комнате, а Лиза – на кухне. Лиза с Ханочкой тоже съезжали из этого «дома любви» – в Салем, в другую квартиру, дешевую.

– Вадим, у тебя есть сигареты?

– Да. Вот на столе...

– У меня будет маленькая квартира, твои вещи там не поместятся.

– Но тут всего пять коробок с книгами!

– Там очень маленькая квартира.

– О'кей! О'кей!

Конечно, дело не в коробках, подумал я. Просто ей не терпится отрезать меня окончательно. И еще ее возмутило, что я не повесился и не утопился, а, наоборот, купил себе машину. Да, пошел вчера к дилеру и на «Мастер-кард» купил себе «тойоту-терсел». Правда, нормальные люди покупают машину на банковский кредит, но я для банка, как и для жены, человек ненормальный: у меня нет постоянной работы. Писатель! Кто в Америке считает это работой? Если ты не Стивен Кинг и не Том Кланси, но при этом называешь себя писателем, тебе говорят: «О, поздравляю! А на что ты живешь?..» А если ты продолжаешь утверждать (да еще на плохом английском), что живешь на свои литературные гонорары, то с тобой рвут отношения, потому что в Америке не любят, когда люди лгут прямо в глаза. Скажи им, что ты заправщик на бензоколонке, или развозишь пиццу, или продаешь айсберги в Новую Зеландию, – и тебе любой поверит, и банк откроет кредит. Но если ты снимаешь дом в Марблхеде и при этом говоришь, что ты только русский писатель, – well, – или ты агент КГБ, или ты в каком-нибудь нелегальном бизнесе, это ясно.

Короче, когда банк отказал мне, я купил машину на свою кредитную карточку. Конечно, это был поступок шизофреника, потому что на счете у меня было всего семь сотен – ровно половина следующей месячной выплаты алиментов, а мой агент вот уже полгода не может продать мой последний роман о падении Горбачева – ни один американский читатель не хочет, чтобы Горбачев проиграл даже в романе! А этого я как раз не учел! Я не учел, что, если пророк хочет преуспеть коммерчески, он должен угадывать не столько будущее, сколько желание клиента. Скажи человеку, что он через десять лет станет миллионером, и он радостно отдаст тебе последнюю десятку и уйдет счастливым, да еще пришлет к тебе всех своих родных и знакомых. Но попробуй сказать ему, что он разорится или заболеет раком, – таких пророков в древности били камнями! Два года я сочинял роман о перестройке и ничего, кроме гражданской войны в России, у меня из этой перестройки не получилось. Теперь ни один из моих издателей не дает за этот роман и цента, как будто я виноват в том, что в России действительно начинается гражданская война!

Но без машины мне сложно навещать дочку, если я собираюсь жить в Нью-Йорке. И отправляясь к ближайшему автомобильному дилеру, я мрачно подумал, разве вся Америка не живет в долг? Пора и мне усвоить эту психологию...

Я отнес ящики с книгами в свою «терсел», повертел в руках старую кинохлопушку, вывезенную из России как память о моем последнем фильме «Зима бесконечна», и швырнул ее в мусорный ящик, где уже находились все сто двадцать папок с вырезками из последних советских газет про шахтерские забастовки в Донбассе, национальные волнения в Прибалтике и Армении, выборы в советский парламент, с речами Горбачева и т. п. Все это мне уже не понадобится никогда. Я вздохнул и позвал дочку в свою опустевшую комнату.

– Сядь, Ханочка, на этот стул, – сказал я. – А я сяду на этот.

– Зачем? – сказала Ханочка.

– Ну, так полагается. Перед дорогой надо посидеть.

Она полезла на стул, говоря:

– А мы завтра тоже едем на новую квартиру, в Салем. И там у меня будет новый папа.

Я обмер. Так вот почему Лиза настояла, чтобы я съехал из дома на день раньше нее!

– Ханочка, кто тебе сказал про нового папу?

– Никто. Я сама знаю.

– Детка, я хочу, чтобы ты запомнила навсегда. – Изю всех сил я старался говорить ровным тоном. – У мамы может быть другой муж или друг, но никто из них не будет твоим папой. Папа бывает только один. Только один бывает папа. Тот, который научил тебя ходить, говорить, любить сказки... Понимаешь?

– Понимаю, папочка. А почему ты не хочешь с нами жить? Ты нас больше не любишь?

Я смотрел ей в глаза. Конечно, она повторяет то, что ей сказала Лиза. «Новый папа»! Значит, Лиза уже учит Хану называть «папой» ее, Лизиного, будущего (или уже существующего) хахаля!..

Но я приказал себе сдержаться. У детей короткая память, и ты ничего не помнишь, да и не можешь помнить, моя дорогая дочка. Ты не помнишь, как во Флориде Лиза схватила тебя, пятимесячную, и уехала от меня в Торонто к своей матери, потому что я эгоист, я сижу по двенадцать часов в день за пишущей машинкой и не уделяю ей, Лизе, внимания. А потом в Нью-Йорке, когда тебе было десять месяцев, Лиза просто выгнала меня из квартиры, потому что я эгоист, я сижу по двенадцать часов за IBM Turewriter и не уделяю ей, Лизе, внимания. А потом в Торонто, в Канаде, когда тебе было четыре года, Лиза взяла тебя, два чемодана и улетела от меня в Бостон к подруге, потому что я эгоист, я сижу по двенадцать часов за компьютером и не уделяю ей, Лизе, внимания. И каждый раз я догонял вас, находил и добивался примирения с ней – ради тебя, Ханочка! Ведь я назвал тебя именем своей матери, как же я мог бросить тебя? Пока мне фартило, пока печатали мои книги, Лиза целыми днями смотрела по телевизору «The Young and The Restles», «As the World Turn» и прочие «мыльные оперы», а в перерывах меняла домработниц и рисовала абстрактные картинки. А теперь она считает, что я погубил в ней великую актрису, потому что я занят только своими книгами и сведением счетов с КГБ за то, что он запретил мой фильм и практически выгнал из России. А если бы я думал о своей жене, то мог бы написать для нее пьесу, устроить жену в театр или по крайней мере научить ее писать книги...

– Ханочка, дорогая... – Я взял маленькую дочкину ручку, доверчиво-легонькую и прохладную, как ландыш. И от этого у меня совершенно сжало душу, и я сказал: – Когда ты вырастешь, ты все-все узнаешь, я тебе обещаю! А сейчас послушай меня внимательно. Раньше я любил и маму, и тебя. И делил мою любовь – тебе половину и маме половину. Понимаешь? А теперь вся моя любовь будет только твоей. Не половина любви, а вся любовь – только твоей. Понимаешь?

– Понимаю, папочка. А как ты поедешь? Смотри, какой ветер.

Я глянул в окно. Действительно, ветер уже рвал с деревьев листву – это, как еще с утра обещали по радио, с Атлантики шел ураган «Глория».

– Ничего, дочка, – сказал я и стал целовать ее маленькую легкую ручку. Этот разговор уже так давил мне на душу, как тяготит плохая сцена в сентиментальном фильме. И Хана, словно чуткая актриса, сделала личико грустным-грустным. Но я взял ее на руки: – Не грусти, Ханочка! Я приеду к тебе на день рождения. Это очень скоро. И я куплю тебе новый велосипед, как обещал. Мы пойдем в магазин, и ты сама выберешь велосипед, какой тебе понравится. О'кей?

Тут она увидела деньги на пустом подоконнике, центов двадцать там валялось.

– Папочка, ты деньги забыл!

– Нет, мне не надо... – отмахнулся я.

– А можно я возьму?

– Возьми.

Она живо высвободилась из моих рук, собрала с подоконника монетки и выбежала из комнаты.

– Мама! Смотри, сколько мне папа денег дал!

Я горестно опустился на стул и почувствовал себя как актер в пошлом спектакле. Мамочка, что мне делать?

Я обвел глазами пустую комнату. Теперь – без белья и покрывала на кровати, без компьютера на столе, без фотографии дочки на стене и без книг на полках – здесь было сиротливо, как в тюремной камере. Все мои вещи: компьютер с русской программой, книги, одежда – уже были в машине. Но вдруг я почувствовал, что нас тут в комнате двое: я, уходящий из семьи муж и отец, и еще один я – писатель, который следит за первым и регистрирует каждое его движение.

– Пошел на х... – зло сказал первый «я» второму, вытащил из кармана чековую книжку и стал выписывать Лизе первый чек на содержание дочери – 1400 долларов. Когда-то, давным-давно, пять лет назад, когда за «Пожар в тайге» я получил сто тысяч долларов, менеджер банка сам предложил мне постоянный банковский кредит аж в десять тысяч и попросил дать автограф. А теперь тот же менеджер проверил мои доходы за последние пару лет и отказал мне в займе даже на «тойоту-терсел»! Но «Кредит-лайн» они еще, слава Богу, не отняли, и я могу выписать Лизе чек, а через месяц – еще один. А там будет видно...

Держа в руке чек, я вышел из комнаты.

Ханочка была в детской, а Лиза на кухне. Стоя перед пустыми кухонными полками, она заворачивала тарелки в газеты и складывала их в коробки. Этими коробками, мешками и чемоданами был полон уже весь дом.

– Мне плевать, кто будет перевозить тебя завтра и с кем ты будешь жить, – сказал я и положил чек на кухонный стол. – Но у моей дочки будет только один отец. Тебе ясно?

Она разогнулась, посмотрела на чек, а потом мне в глаза. В ее взгляде не было даже привычной мне ненависти, а было только усталое отвращение и желание, чтобы я уехал, исчез, сдох. От этого долгожданного мгновения ее отделяло последнее усилие – молча переждать еще минуту.

– Тебе ясно? – повторил я в бешенстве.

Она протянула мне тарелку.

– Хочешь разбить?

Я молчал.

– Уйди уже! – произнесла она с тоской.

– Гуд бай! – сказал я и пошел из кухни на улицу.

– Счастливо... – бросила она мне в спину.

4

В черноте вечера ветер кинул мне в лицо крупные капли дождя, но не остудил бешенства. Я сел в машину, набитую вещами, и поехал. В Нью-Йорк, к приятелю-художнику, который живет один. Вот и весь итог моей семейной жизни, думал я по дороге, вот и все, что я имею в свои пятьдесят лет: старый компьютер, пять коробок моих никому не нужных книг и долг за машину. Вот и все, что я имею на всей этой ё... планете. Ни дома, ни семьи, ни дочки, ни работы...

Ураган «Глория» был не так ощутим в узких марблхедских улицах, но стоило мне выехать за город, как ветер и дождь стали сечь машину, хлестать ее по лобовому стеклу и сдвигать с шоссе. Сражаясь с ливнем, скрежетали по стеклу щетки «дворников», и сквозь этот звук я слышал слова дочки: «А мы завтра тоже едем на новую квартиру, и там у меня будет новый папа...» И вместо того чтобы сбросить скорость, я, растревая себя, все больше жал на газ, тараня машиной ночь, ураганный ветер, слепящий ливень и свою судьбу. Семьдесят миль... восемьдесят... девяносто...

Иногда я замечал, что стрелка спидометра уже полезла на цифру «100», и испуганно сбрасывал ногу с педали газа. Но через минуту Лиза издевательски протягивала мне тарелку: «Хочешь разбить?» И я, сатаня, снова жал на газ. «Тойота» летела сквозь ночной ураган, как маленький снаряд, «дворники» с жалобным скрипом металась по лобовому стеклу, захлебываясь дождем, а впереди, в рябой черноте ливня, в опасной близости от меня, возникали мощные грузовики на тяжелых крыльях воды. Я упорно гнал трепетную «тойоту» – прямо на эти валы, на таран. «Ах, эта с... хочет, чтобы я сдох, разбился, умер от разлуки с дочкой – черта с два! Я выживу! И я еще напишу роман «Письмо к дочери»! Дорогу мне, мать вашу так!..»

Конечно, если бы не полицейский патруль, я бы разбился в ту ночь – нет сомнений. Но моя милая мама всегда спускается ко мне с небес на опасных поворотах моей судьбы – она спасла и на этот раз: сирена полицейской машины и яркие цветные огни настигли мою машину, я глянул в зеркальце заднего обзора, громко сказал: «S-s-shit» [Дерьмо]! – и, сбросив скорость, покорно свернул на обочину.

Верзила-полицейский, завернутый в плащ, как русское мороженое эскимо в серебряную фольгу, прошел сквозь дождь от патрульной машины к моей, осветил фонариком через опущенное стекло и наклонился ко мне:

– May I see your driver's licence [Покажите свои права].

Я протянул свои права и только теперь увидел второго полицейского – он оказался черным, лет тридцати пяти, высоким, круглолицым, со щеточкой черных усов. Своими широкими ноздрями он осторожно принюхивался к воздуху в салоне машины. Везет мне на черных полицейских, невесело подумал я. А полицейские, не уловив запаха спиртного, уже уходили с моими правами назад, к своей машине. Дождь колотил меня по плечу и шее, я поднял стекло и откинулся затылком на сиденье. Закрыв глаза. Какая у меня была скорость – восемьдесят? девяносто? сто? Да черт с ним, какая разница! Я протянул руку и выключил двигатель. Но в машине, как ни странно, стало еще шумнее – это дождь барабанил по жестяной коробке дешевой «тойоты», как по пустой консервной банке. Я не мог этого слышать и включил радиоприемник.

Он отозвался оглушающей кантри-музыкой, я покрутил ручку настройки, и в машине зазвучал Григ, Вторая симфония. Я снова откинулся на сиденье. Под музыку и шум дождя бешенство стало стекать с меня, как вода с машины, я даже задремал.

Нетерпеливый стук в стекло заставил меня очнуться.

– Подпишите здесь и здесь, – сказал полицейский.

Я, не глядя, расписался на желтом бланке штрафа. Полицейский протянул мне права:

- Езжайте осторожно.
- У тебя есть семья? – вдруг хмуро спросил я, пряча права.
- Есть. А что? – удивился полицейский.
- А дети?
- Конечно! – В голосе полицейского прозвучало возмущение – разве может семейный мужчина, да еще черный, не иметь детей!
- Значит, у тебя хорошая семья, верно? – желчно продолжал я.
- Думаю, что да, – насторожился полицейский. – А что?
- Ты можешь сказать мне, в чем секрет семейного счастья? – Я посмотрел ему прямо в лицо.
- I see... – сказал он, по-новому увидев хозяина «тойоты». – Ясно... У тебя проблемы дома, да?
- Yes... – криво усмехнулся я, подражая негритянскому сленгу. – Ты знаешь секрет семейного счастья?
- Ну... Мы спорим время от времени... – честно признался он. – Чего ж ты мне с самого начала не сказал?
- Что?
- Что ты оставил семью. Есть дети?
- Да. Дочка пяти лет... – Сам не зная почему, я вдруг захотел именно этому, стоящему под дождем черному полицейскому рассказать все – и про Лизу с ее мудацкими актерскими амбициями, и про Ханочку, и про мои ненаписанные фильмы-романы, на которые уже нет сил.
- Ладно. Знаешь, я не могу просто порвать твой штраф, он уже выписан. Но если ты приедешь в суд, я попрошу судью отменить этот штраф... Куда ты едешь?
- В Нью-Йорк.
- Я надеюсь, все обернется к лучшему для тебя. – Полицейский искренне сожалел, что выписал штраф. – Только езжай поосторожнее. Обещаешь?
- Обещаю. Спасибо! – усмехнулся я.
- Полицейский отступил от «тойоты» и светящимся жезлом стал махать идущему сквозь ливень потоку машин, сгоняя их с правой полосы на левую, чтобы я мог выехать на шоссе.
- Я дал полный газ. Малышка «тойота», взвизгнув колесами по мокрому асфальту, юзом вымахнула на шоссе и, набирая скорость, понеслась прочь, в мокрую черноту ночи. В зеркало заднего обзора я еще некоторое время видел фигуру черного полицейского. Даже в наклоне его головы было сомнение, и я понял, о чем он думает. Этот русский, думал он про меня, типичный самоубийца и вряд ли доедет до Нью-Йорка. И все из-за этих баб. «Секрет семейного счастья»! И-эх...
- А я ехал и думал: «Черт возьми, если бы мне действительно удалось найти продюсера на фильм «Секрет семейного счастья», то я первым делом поехал бы в Грузию. В Грузии, на горной дороге, я, конечно, тоже буду ехать не со скоростью 60 километров в час. И меня остановит грузинский милиционер. Наверное, это будет высокий грузин лет сорока, с черными глазами, черными усами и лысый под своей милицейской фуражкой. Как тот знаменитый грузинский актер, который 12 лет назад снимался в моем последнем фильме.
- Та-а-ак... – скажет он нараспев, предвкушая солидную взятку. – Нарушаем, значит?
- Потом он увидит мои американские водительские права и его аппетит разгорится еще больше.
- Вай-вай-вай! – покачает он головой. – В чужой страна приехал и уже нарушаешь! Придется арестовать...
- Задумался, товарищ милиционер... – скажу я хмуро.
- Панимаю, – скажет он насмешливо. – Мислитель, значит? Философ?
- Слушай, – скажу я. – У тебя есть семья?

– Канэшно, есть.

– И дети?

– Канэшно, трое детей! Какой грузин без детей?!

– Тогда скажи мне: в чем секрет семейного счастья?

Он посмотрит на меня своими бархатными черными глазами, думая, что я хочу отвлечь его и увильнуть от штрафа.

А я скажу:

– Понимаешь, я делаю кино. «Секрет семейного счастья» называется. Вот ты знаешь, в чем этот секрет?

– Ты хочешь сказать, что приехал из Америки в Грузию, чтобы узнать секрет семейного счастья?

– Да.

– А в Америке никто не знает?

– В Америке мне сказали, что секрет семейного счастья – это секрет.

– Капиталисты! – скажет он возмущенно. – Нет, мы, грузины, не такие! Мы открытый народ! Садись в мой машину, генацвале! Садись, ты мой гость!

И он посадит меня в свою милицейскую «Волгу-24», включит сирену и повезет меня по грузинским селам. Там мы будем есть шашлыки и пить веселое грузинское вино и седобородые грузинские старики будут долго рассказывать красивые старинные легенды и притчи о тайнах семейного счастья...»

5

...Кудлатая русая голова. Мягкая шапка-ушанка где-то на затылке, в отлете. Потный, оцарапанный лоб. Прозрачно-голубые дерзкие глаза с красными алкогольными прожилками. Круглое молодое лицо со злыми небритыми скулами и мокрыми губами. Расстегнутый грязно-серый кожаный плащ с висящей на последней нитке верхней пуговицей. Большие обветренные руки сжали деревянные колодки и, опираясь на них, подняли обрубок тела с прикрученной к культам деревянной платформой на стальных колесиках. И глубокий, как на холстах Рембрандта, черно-багровый фон, из которого, как из прошлого, вылетает вперед этот дикий безногий варвар с мокрыми губами. «Россия» – назвал картину художник.

Было в этой нищей и захлавленной мастерской еще несколько неоконченных работ – Троица, Георгий Победоносец и другие русские святые, – но эта, самая большая картина, натянутая на подрамник и тоже не законченная, стояла в центре. От прямого закатного солнца, уходящего за мост Джорджа Вашингтона, холст укрывала тяжелая и пыльная оконная штора. Рядом стоял мольберт с красками и кистями, на полу – множество банок с кистями. С потолка свисала на шнуре большая пыльная лампа без абажура. Второе, восточное, окно квартиры выходило на Бродвей в районе Сто восьмидесяти улиц. На этом окне стоял квадратный вентилятор и с шумом гнал в комнату душный бродвейский воздух, гудки машин, вой полицейских сирен, крики пуэрториканской пацанвы, сорвавшей водопроводный кран, и оглушительный ритм ударника, летящий из динамиков открытой машины. За рулем этой машины, застрявшей у светофора, в такт ударнику дергался черный гигант, а банда мальчишек мыла стекла его «бьюика» мыльной пеной.

– Конечно, я пробовал стать американцем! Пробовал!.. – Полуголый, в одних шортах, я выплеснул из бутылки остатки дешевой водки «Попов» в два стакана, внимательно посмотрел, поровну ли, и понес стакан Максиму, у которого теперь жил. Максим – бородатый сорокалетний русак со спокойными карими глазами на широком, как у татарина, лице – голяком сидел в темной глубине комнаты на брошенном у стены матрасе. Когда-то, в нашей прошлой жизни, он был заметным московским художником, а теперь живет на вэлфер³ и все свое время делит между пением в русском церковном хоре и этим мольбертом. Сейчас на полу перед ним стояла большая кастрюля. Полуобняв ее волосатыми ногами, он ложкой доставал из кастрюли перловый суп и ел его с хлебом, аккуратно оберегая курчавую черную бороду от хлебных крошек.

– Да, я пробовал стать американцем – писал то, что можно продать, – продолжал я в приступе хмельной откровенности. – И это не стыдно здесь, это не аморально! Но внутренне я не смог измениться. Даже субботные дни – простые еврейские субботы, когда в каждом доме должен быть семейный праздник, – я не смог сделать семейной традицией. И знаешь почему? Я вырос в стране, где религию подменили «моральным кодексом строителя коммунизма». Посмотри на свою «Россию» – это же наш портрет! Это ты, я, даже моя жена! Мы такие сюда приехали – калеки! Моральные инвалиды!

– Господи благослови! – сказал Максим, перекрестился и залпом выпил полстакана теплой водки.

– Лэ хаим! – сказал я и тоже выпил, но закашлялся и заметался по комнате – из одного окна в комнату валил жаркий бродвейский воздух с оглушающим боем ударника, а на втором была тяжелая штора. Кашляя, я выскочил на замусоренную кухню, схватил со столика чашку и сунул ее под водопроводный кран. С глухим выхлопом оттуда вырвалась лишь струя воздуха, выбила из чашки таракана, потом кран заурчал, как пустой желудок, – воды не было. Наверно,

³ Пособие по нищете.

это потому, что на улице мальчишки-пуэрториканцы сломали водопроводную колонку и теперь купались в мощном фонтане.

Отшвырнув чашку и все еще надрывно кашляя, я очумело оглядел кухню с отлипающими от стен обоями, подбежал, согнувшись, к холодильнику, распахнул дверцу и сунул голову внутрь – в холодильнике по крайней мере было прохладней. Отдышавшись, я взял морковь с единственной нижней полки холодильника (еще там лежали картошка и лук), вытер эту морковь о шорты и, хрупко надкусив, пошел в «свою», вторую в этой квартире комнату. Здесь, у закрытого и наглухо занавешенного газетами окна, выходящего на пожарную лестницу, стояли самодельные деревянные козлы, на которых лежала комнатная дверь, снятая с петель. А на двери стоял мой компьютер Compaq-Portable. Теперь это был мой письменный стол, или, как говорят в Америке, *my desk*. Остальные вещи находились на полу, в картонных коробках. И здесь же, на полу, лежал толстый квадрат поролона, на котором я спал. Порывшись в коробках и спяну расшвыряв свои, в пестрых обложках, книги, я извлек со дна одной из коробок пачку старых фотографий и пошел к Максиму.

Он по-прежнему молча ел перловый суп с хлебом.

– Вот! – Я показал ему старую, двадцатилетней давности, черно-белую фотографию. На ней я стоял в обнимку с молодыми и смеющимися женщиной и мужчиной. – Видишь эту пару? Они жили на Урале. Михаил был режиссером телевидения, зарабатывал сто шестьдесят в месяц. А это его жена Лариса. Она работала где-то за шестьдесят рублей в месяц. Короче, нищая жизнь в замороженном сибирском городе – в магазинах годами ни мяса, ни овощей. Когда я прилетал туда из Москвы, я привозил им мясо в чемодане, и это было для них праздником! И однажды я видел, как Михаил пришел с работы. Он шел с автобусной остановки десять кварталов по жуткому морозу, но когда вошел в квартиру, Лариса уже ждала его с тазом горячей воды. Она встала перед ним на колени, сняла с него замороженные ботинки и стала греть ему ноги в этой воде. При мне. Эту сцену я никогда не забуду, и ты, кстати, можешь ее нарисовать! Называется «Возвращение мужа с работы, или Секрет семейного счастья». – Я усмехнулся, но тут же пьяно махнул рукой, досадуя, что отвлекся от главной идеи. – Дело не в этом! А в том, что у Михаила была другая женщина, Елена, и он уже собирался уйти к ней от Ларисы. Но муж Елены написал на него донос в КГБ. Он написал, что Михаил – диссидент, сионист, слушает «Голос Америки», ведет антисоветские разговоры и так далее. Конечно, частично это было правдой – Михаил слушал «Голоса» и читал самиздат. А кто из нас не читал самиздат и не слушал «Голос Америки»? И вот его вызвали в КГБ и сказали: или говори, с кем из диссидентов связан и где берешь Солженицына и другой самиздат, или мы скажем твоей жене, что у тебя есть любовница. И представь себе: когда он отказался давать показания, они действительно пришли к Ларисе, показали ей фото той женщины – Елены. Но Лариса выгнала их из квартиры! Гэбэшников спустила с лестницы, представляешь! И они с Михаилом остались вместе – он расстался с Еленой и остался с Ларисой. И если бы я делал фильм о секрете семейного счастья, я бы, конечно, взял у нее интервью...

– Нам с тобой жены не будут ноги мыть. Ни тебе, ни мне, – сурово сказал Максим.

Я хотел выяснить, почему он так думает, но в эту минуту за моей спиной прозвучал телефонный звонок. Я откинулся на матрасе, разгреб рукой груды одежды – джинсы, мятые рубашки, носки – и наконец извлек оттуда трубку дребезжащего телефона.

– Алло?

– Mister Plotkin? – раздался в трубке вкрадчивый голос.

– Да, это я.

– Добрый вечер. Это Ниоси Йосито из журнала «Токио ридерз дайджест». Вы помните меня?

– О, yes, yes! – воскликнул я с преувеличенным энтузиазмом. Год назад этот Йосито дважды брал у меня интервью, и оба раза «Токио ридерз дайджест» заплатил мне совсем неплохо

– по пятьсот долларов. За такие деньги я готов помнить даже японские фамилии. – Конечно, помню! Как поживаете?

– Хорошо, спасибо. Вас нелегко было отыскать... – Вкрадчивый голос выдержал паузу, предоставляя мне возможность объяснить мой переезд из богатого пригорода Бостона на нищую окраину Нью-Йорка. – Н-да, – сказал голос после паузы. – Наш журнал хочет предложить вам поехать в Москву в составе международной делегации журналистов...

– Куда??? – изумился я.

– В Москву. Наш журнал оплатит всю вашу поездку, а вы напишете нам рассказ об этом путешествии.

– Вы шутите? Я автор «Гэбэшных псов»! Они никогда не дадут мне въездную визу! А если и дадут, то для того, чтобы КГБ арестовало меня, как только я приземлюсь в Москве!

– Ну, это не обязательно... – мягко сказал голос. – Они утверждают, что у них там гласность и горбачевская перестройка. И наш журнал хочет проверить, насколько это соответствует действительности... – Вкрадчивый японец знал английский не намного лучше меня и поэтому говорил старательно и медленно. – Мы будем платить вам пятьсот долларов за тысячу слов, и вы сможете написать нам очерк до десяти тысяч слов. Ну, как?

Мерзавцы, мысленно восхитился я и снова закрыл трубку рукой, поскольку из туалета донесся шум спускаемой воды. «Автор «Гэбэшных псов» в Москве!» – неплохой заголовок для богатого японского журнала, и ради этого я должен на своей шкуре проверить, реальная ли в СССР гласность. Гэбэшники могут уколоть меня зонтиком, как они отравили болгарского диссидента Георгия Маркова, могут убить, как двух сотрудников радиостанции «Свобода» в Мюнхене. Могут столкнуть под поезд в метро, или подсыпать яд в ресторане, или просто поломать мне ребра в якобы случайной уличной драке с хулиганами. И все это – за пять тысяч долларов! Но с другой стороны, пять тысяч – это алименты за три месяца, это три месяца свободы!..

– Mister Plotkin? – напомнил о себе японец в телефонной трубке.

– Извините, я не могу поехать, – сказал я, почему-то разом охрипнув.

– Что ж... Конечно, мы не будем настаивать. Но и вам не нужно спешить с окончательным ответом. Если вы передумаете, то наш офис помещается теперь в Рокфеллер-центре. Мой телефон 678-91-02. Спокойной ночи.

Я положил трубку и сел на пол перед картиной своего приятеля.

Россия – хмельной безногий варвар в заломленной на затылок шапке – летела на меня из подрамника. У нее было мучительно знакомое лицо. И вдруг я вспомнил, на кого похож этот краснорожий калека. На Алешу, вот на кого! На улыбчивого мерзавца Алешу, русского таможенника, который...

Поздним вечером в Вене, в крошечной, как пенал, комнате дешевого отеля «Цум туркен», я взглянул на себя в зеркало и замер от изумления: поперек моей левой щеки легла глубокая, как у старика, морщина. Как шрам. Как окоп. А еще утром в Москве, когда я брился перед отъездом, у меня были гладкие щеки.

«Цена эмиграции – шрам эмиграции», – подумал я и даже записал фразу в дневник. Мол, в этот день неизгладимый шрам лег поперек моей щеки и поперек биографии. И виновата в этой отметине шереметьевская таможня...

– Эй, вы! Как вас там? Фельдман? Идите к четвертой стойке, вас там будут досматривать!

Сутулая старушка Фельдман, вытягивая, как черепаха, тонкую шею из узких плеч, волоком потащила к таможенной стойке два тяжелых фибровых чемодана. Но когда дотащилась, веселый таможенник в сером кителе крикнул через зал своему коллеге:

– Алеша, я занят, возьми ее себе! Идите к первой стойке, Фельдман! Живей, живей!

Старуха Фельдман снова впряглась в свои чемоданы, но у нее уже не было сил сдвинуть их с места. А из-за каната, перегородившего вход в таможенный зал, из толпы провожающих растрепанная женщина кричала:

– Мама, брось эти чемоданы! Брось! Пустите, я помогу ей!

– Провожающим в зал нельзя, – встала на ее пути грудастая дежурная в таможенной форме: кителе, юбке и хромовых офицерских сапожках.

Наконец старуха сдвинула с места один чемодан и, напрягаясь, толчками покатила его к первой стойке. Там работал таможенник, которого почему-то боялись все эмигранты, хотя называли его только по имени – Алеша. Он был русоголов, голубоглаз, с юношеским пушком на розовых щеках – просто царевич из русских сказок. Сейчас перед этим Алешей лежала груда детской одежды и распахнутый саквояж, а сбоку, в нескольких шагах, на другом столе – еще один распахнутый чемодан, и над ним стояла женщина-инспектор – тоже молоденькая, не старше двадцати трех. Вдвоем они вели досмотр ручного багажа веснушчатой тридцатилетней шатенки в потертой рыжей куртке и стоптанных сапогах. К ногам шатенки жалась худенькая пятилетняя девочка в расстегнутой кроличьей шубке, она держала в руках облупленный черный футляр скрипки-четвертушки, а из рукавов ее шубки почти до пола свисали красные рукавички на резинке.

– Идите сюда! – властно позвал шатенку Алеша, вынимая из ее саквояжа очередной пакет. – Это что у вас?

– Это лекарство для ребенка.

– Лекарства вывозить нельзя.

– Идите сюда! – тут же, без паузы, включилась таможенница за вторым столом, вынимая из чемодана коробку со стиральным порошком. – Это что?

– Это стиральный порошок, вы же видите.

– Стиральный порошок нельзя вывозить в фабричной упаковке. Пересыпьте в полиэтиленовый пакет...

– Но где я тут возьму полиэтиленовый пакет?

– Это нас не касается.

– Идите сюда! – опять позвал Алеша. – Быстрее! Это что? – И скосил глаза на старуху Фельдман, которая пошла за вторым чемоданом.

– Это бутерброды, для ребенка, – сказала шатенка и показала на дочку.

– Никакие продукты вывозить нельзя.

– Но это же для ребенка!

– Вам же сказано: никаких продуктов. А это что?

– Это кофейная чашка, треснувшая, осталась от мамы...

– Это предмет старины. Где разрешение Министерства культуры на вывоз? Вы! – Алеша повернулся к старухе, которая подтащила к его стойке второй чемодан. – Идите к третьей стойке, мы тут заняты!

– Но... меня... сюда... послали... – негромко сказала старуха, хватая, как рыба, воздух узкими сухими губами. Ее редкие седые волосы прилипли к потному лбу, и нос был в росинках пота, а норковый воротник темно-синего пальто уже наполовину оторван.

Однако Алеша не смотрел на нее, вдвоем с молодой таможенницей они все убыстряли темп, гоняя эту шатенку туда-сюда, им доставляло удовольствие гонять этих жидов все быстрее и быстрее – до пота.

– Идите сюда! Что это за картины!
– Это детские рисунки, вы же видите...
– А где разрешение на вывоз?
– Какое разрешение? Это она рисовала, дочка!
– Без разрешения Министерства культуры никакие рисунки вывозить нельзя!

– Эй! Сюда! А где разрешение на вывоз скрипки? Ага, вижу. Откройте футляр! А где фотография смычка? Разве это тот смычок, что на фотографии? А пошлину вы уплатили?

– Сюда! Идите сюда! Это что за фотографии?

– Это семейные, – уже мертвым голосом ответила загнанная шатенка.

– Столько фотографий вывозить нельзя, возьмите только половину...

И такая же игра идет между третьей и четвертой стойкой, только здесь у таможенников добыча покрупнее – пожилая пара в дубленках. Их багаж – не стиральный порошок и не детская скрипка, а сияющий перламутром аккордеон «Вельтмастер» и в чемоданах – сервиз, нитки с янтарем, льняные простыни, дорогое нижнее белье, куклы-матрешки, добротная одежда, несколько абстрактных картин. Таможенный инспектор не спеша извлекает из чемоданов каждую вещь, прощупывает швы в одежде, в нижнем белье и говорит:

– За вывоз аккордеона вы должны заплатить пошлину – его полную стоимость.

– Но ведь мы купили его в магазине, вот квитанция.

– Вы купили, чтобы пользоваться здесь. А если вывозите – платите пошлину. Это что за картины?

– Это мои, вот моя подпись.

– А где разрешение на вывоз и квитанция об уплате пошлины?

– Но это я сама рисовала! Сама!

– Картины мы не пропускаем.

– Подождите! Позвольте вам сказать! Эти картины не брали ни на одну выставку, потому что это абстракция. Мне говорили, что это антихудожественно, никому не нужно. Почему же теперь я должна платить вам за свои работы?

– Или вы оставляете картины, или вы не летите. А что это? Серебро?

– Вилки...

– Ага, серебряная посуда. Будем оформлять акт за попытку провоза контрабанды.

– Какой контрабанды? Эти вилки лежат открыто, я ничего не прячу! Каждый имеет право вывезти до двухсот граммов серебряной посуды!

– Здесь не двести граммов, а все полкило! Сейчас мы взвесим.

– Но нас же трое! Я, муж и мать! Вот она сидит...

– Это лежало в одном чемодане! Или вы оставляете серебро, или мы снимаем вас с рейса за провоз контрабанды! А вы, Фельдман, я же вам русским языком сказал: идите к первой стойке! И отрежьте норку от пальто, норку мы не пропускаем!

– Я... уже... не могу... – без голоса шепчет старуха Фельдман и мертво оседает на свой свалившийся набок чемодан.

Тут, прорвав заграждение, к ней подбегает растрепанная дочка, подхватывает под мышки.

– Мама!..

– Патруль! – зовет грудастая дежурная, мимо которой прорвалась дочка старухи. – Выведите ее!

– Но я только помочь! Она же не может таскать эти чемоданы! – пробует объяснить женщина двум солдатам с автоматами.

– Не может – пусть не летит. Освободите таможенный зал!

А рядом, за веревочным барьером, отгораживающим эту часть таможенного зала от всего остального мира, движется на регистрацию билетов поток иностранных туристов. Немцы, французы, американцы, арабы, турки, шведы, канадцы – лучась инеем меховых шуб, цокая каблучками итальянской обуви, увешанные японской фотоаппаратурой и русскими сувенирами, сотни иностранцев катят на тележках свой багаж мимо любезных за теми стойками таможенников, кассиров, пограничников: «Пardon... Силь ву пле... Пер фаворе... Мерси боку...»

Мир разгорожен только этой веревкой, но чистые, вымытые иностранцы с непроницаемыми лицами отводят глаза, когда натываются взглядом на этот другой мир, где дотошные таможенники потрошат чемоданы у потных и дурно пахнущих людей. Иностранцы считают, что власти не станут просто так, без причины, проверять невинных людей. Право, если их проверяют – значит, они drug-smagglers [перевозчики наркотиков] или кто-нибудь в этом роде, ведь во всех аэропортах мира именно такую грязную публику чаще всего и проверяют на наркотики...

Я стоял перед канатом в плотной еврейской толпе, вторые сутки ожидая своей очереди на досмотр багажа. Все эмигранты знали, что таможенники нарочно тянут время, чтобы последний десяток пассажиров-эмигрантов оказался в цейтноте: самолет вот-вот улетит, а вещи еще не проверены, и остаться нельзя – все билеты на Вену проданы на месяцы вперед, квартира сдана, паспорт и советское гражданство тоже, и вы уже не имеете права находиться в СССР после отлета этого рейса – мосты сожжены!

Оказавшись в таком цейтноте, люди бросают таможенникам свой багаж и улетают. С пустыми руками.

А чтобы избежать этого, эмигранты приезжают в шереметьевский аэропорт за двое, а то и за трое суток до вылета и живут здесь в очереди – спят на своих чемоданах, едят на них же, нервничают, обмениваются информацией об очередных кознях таможни и ждут, когда утром в 8.00 появится очередной «товарищ таможенный инспектор» и объявит надменно:

– Ну, кто тут на Израиль?

Таможенникам нравится произносить это слово с ударением на конце – так им кажется презрительней.

Но меня не утомляло стояние в этой круглосуточной очереди. Наоборот, как киношник, я видел, что на меня буквально со всех сторон прет новый, яркий, почти фронтовой материал: эти взмыленные эмигранты, остервеневшие в боях с ОВИРОм, жэками, отделами кадров, Министерством культуры и таможнями, навьюченные детьми, родителями и вещами. Эти чистенькие, как с другой планеты, иностранцы. Эти молодые веселые мародеры-таможенники и их прихвостни – небритые мордастые грузчики, которые вьются меж эмигрантов, нашептывая сомнительные предложения пронести в самолет что угодно или «договориться» с таможенным инспектором, чтобы он не открывал ваш чемодан.

И – разговоры, разговоры:

– Сейчас они отправят эту женщину на гинекологический осмотр! Вот увидите! За то, что ее муж не подписывает акт про контрабанду серебряных вилок. Позавчера было то же самое, я сам видел. Только не из-за вилок, а из-за ложек, и они тоже прицепились – «контрабанда». А женщина говорит мужу: «Слушай, мы оставили им квартиру, машину, деньги в банке и мебель. Так брось им эти ложки, пусть они подавятся!» И что вы думаете? Они ее за это отправили на гинекологический осмотр. И заставили сидеть в гинекологическом кресле до отлета самолета! Фашисты!

– А вы знаете, что делают на ленинградской таможне? У моего брата были краски – обыкновенные краски в тюбиках. Они спрашивают: «Вы художник?» – «Да. Я художник». – «Ага. Хорошо. Где ваша палитра?» – «Вот». И знаете, что сделал таможенник? Он прокалывал каждый тюбик и выжимал краски на палитру. Формально – искал бриллианты, а на самом деле – просто издевался, вы же знаете, что такое найти у нас хорошие краски! Дефицит хуже мяса! Брат все деньги потратил на эти краски, ничего не вез с собой, кроме них, – художник! А этот мерзавец нарочно, как садист, выдавливал каждый тюбик на палитру – все выдавил, без остатка!..

– Ой, вы бы видели, как они издеваются в Одессе! Когда я сдавал грузовой багаж, они отняли у меня ковер – обыкновенный ковер, из магазина, тысячу двести рублей стоит. Тоже сказали – контрабанда. Так я пошел жаловаться начальнику таможни. Я показал ему свои документы – я всю войну прошел капитаном артиллерии, имею два ранения и восемь боевых орденов. И знаете, что он сказал? Он говорит: «Скажите спасибо, что мы только берем с вас штраф за попытку провоза контрабанды!» – «Но при чем тут контрабанда? – говорю. – Я же не прятал этот ковер! Я его сдавал в багаж!» – «Все! – говорит. – Идите!» И знаете, что я ему сказал? Я сказал: «Хорошо! Вы будете иметь мой ковер, но вы будете иметь и мое горе! Бог есть!» И я вам говорю – вон лежит мой сын, он умирает, у него лейкомия, ему каждый час нужно принимать по десять таблеток, а они не пропускают никакие лекарства, я уже ходил к начальнику таможни. Я говорю ему: «Пропустите хоть двадцать таблеток, на два часа до Вены! Иначе парень умрет по дороге!» Знаете, что он ответил? «Не летите!» Вот и все, представляете? «Не летите!» Но я вам скажу: они будут иметь наши ковры и наши ложки, но они будут иметь и наше горе! Очень скоро! Бог есть!..

Я впитывал в себя эти разговоры, лица, детали: мучнистую белизну лба огромного двадцатитрехлетнего сварщика с лейкомией, который лежал на полу, на брезентовых носилках, почему-то босой, но в пальто и с кислородной маской на лице... потерянное черепащее лицо старухи Фельдман... истерические поцелуи взасос шестнадцатилетней еврейской девчонки и семнадцатилетнего русского парнишки, расстававшихся навсегда (казалось, они трахнутся прямо сейчас, стоя, на глазах у родителей и у всего мира)... красные варежки, свисавшие из рукавов кроличьей шубки девочки со скрипкой... мембранный, с потолка, голос объявлений о посадке в самолеты на Токио, Монреаль, Париж, Прагу, Хельсинки... хрипло орущего, потного грудного ребенка и над ним – огромную бледно-синюю женскую грудь, которую толстая жена умирающего одесского сварщика поминутно мяла и совала ребенку в рот... бесконечные маятниковые раскачивания взад-вперед старика с пейсами и в ермолке, приехавшего в Шереметьево из Бухары еще

неделю назад... бутерброды с красной икрой и шампанское у какой-то шумной, пьяной компании провожающих... красивую бледную брюнетку с большими черными бездонными, как ствол гаубицы, глазами, багаж которой потрошат теперь таможенники, высоко поднимая над ее чемоданом какие-то платья, кофточки, туфли и колготки...

Я, тоже потный под свитером и курткой, небритый после бессонной ночи, жевал вчерашний бутерброд и ногами продвигал к таможене свой чемодан, рюкзак и пишущую машинку. И вертел головой из стороны в сторону, панически боясь, что забуду массу примет этого всеобщего остервенения последних, прощальных дней. А записать нельзя: таможенники проверяют даже телефонные книжки и уничтожают все рукописи, записи, письма. И я мысленно надиктовывал впрок своей памяти все, что видел. Фильм, новый фильм, который я тут же назвал «Еврейская дорога», родился во мне, и теперь я нянчил его в душе, как новорожденного ребенка, и ликовал от своего замысла. Если записать все, что творится сейчас и случится потом с тремя дюжинами эмигрантских семей по дороге Москва – Вена – Рим – США и Москва – Вена – Израиль, если записать все до мелочей – и разбитые надвое семьи, и мимолетные дорожные романы, и мародерство таможенников, и встречу с новым миром, – это же кинороман, это еврейские «Унесенные ветром», «Доктор Живаго», «Блуждающие звезды»!..

И все, что я сделал в кино до этого, даже мой последний фильм, арестованный КГБ и запрещенный цензурой, – все показалось мне мелким и малозначительным. Здесь, в потной, орущей очереди эмигрантов, я вдруг почувствовал, что «Еврейская дорога» – это моя миссия! Само Провидение бросило меня сюда с пишущей машинкой, чтобы я поплыл с потоком эмигрантов, стал хроникером этого потока, а потом снял эту еврейскую киноэпопею с достоверностью исторического документа. И теперь я взмывал душой над толпой, чтобы все увидеть, ничего не забыть.

– Слушайте, почему, уезжая, мы, каждый – даже эта девочка со скрипкой! даже этот ребенок с соской во рту! – должны платить им по пятьсот рублей за потерю советского гражданства? Они лишают нас гражданства, и мы же должны им за это платить?!.

А ведь и правда, подумал я. Они уже отпустили нас, уже не властны над нашими жизнями и душами, но, как собака хватает за штанину и дергает и рвет, так и это государство и каждый его чиновник пытаются – с матерным лаем и хамством – вырвать из нас на прощанье еще что-нибудь: золотые запонки, вилки, смычок от детской скрипки и даже стиральный порошок!..

– Мужчина! Вы собираетесь лететь, или вы передумали?

Я очнулся от диктовки – черт возьми, оказывается, подошла моя очередь! Забросив на спину брезентовый рюкзак, я потащил в таможенный зал свой чемодан и машинку.

– К первой стойке! – приказала грудастая дежурная.

Но у первой стойки инспектор Алеша, уже закончив досмотр багажа бывшего капитана артиллерии, вдруг сказал ему:

– А ну-ка снимите пальто с вашего сына!

– Да вы что? – испугался отец умирающего. – Он же на полу лежит, его продует!

– Я должен проверить его пальто, иначе не полетите, – отрезал Алеша и приказал мне: – А вы идите к четвертой стойке, я занят.

«Так, – подумал я, – теперь они возьмутся за меня!»

Я сбросил со спины рюкзак и, оставив вещи посреди зала, пошел к четвертой стойке. Там, напротив высокой стройной брюнетки с тонким лицом и огромными черными глазами-гаубицами, стояли сам начальник таможи майор Золотарев – худощавый альбинос с заячьим профилем – и еще два таможенных инспектора в погонах лейтенантов. Перед ними на широком таможенном столе, рядом с выпотрошенными чемоданами, были разложены какие-то рекламные плакаты, театральные афиши и программки. И с каждой афиши смотрели огромные глаза этой молодой брюнетки, и тут меня что-то толкнуло: Господи! Да это же... Как ее? Актриса из Минска... Я видел ее в спектакле «Любовь одна» и в «Царской милости»!

– Та-ак... Значит, вы и есть Лиза Строева, – говорил актрисе начальник таможи, держа в руках зеленый листок ее выездной визы с чернильными печатями ОВИРа и австрийского посольства. – Ну-ну... Значит, у нас играла русских цариц, а сама, значит, Лиза Соломоновна. А? Как же так? – И он требовательно посмотрел на побледневшую актрису, словно уличил ее в провозе контрабанды.

– Последние триста лет русскими царями были немцы, – вдруг вырвалась у меня.

У майора зарозовели белые и по-заячьи пухлые щечки, он посмотрел на меня прозрачно-синими глазами и бросил сквозь острые зубки:

– Пшел вон!

И столько властного презрения было в этом даже не «пошел!», а именно «пшел!», что меня словно дерьмом облили.

Впрочем, я и сам уже испугался своей выходки и сказал:

– Я, собственно, хотел...

– Вон!!! – гаркнул майор.

Я пожал плечами и отошел к своим вещам, стараясь не оборачиваться на красивую актрису. Но и спиной почувствовал, как майор провожает меня тяжелым, цепким взглядом. Я понял, что теперь проверкой моего багажа займутся всерьез. Но что с меня взять? Я не везу с собой даже афиш своих фильмов. Если они не разрешают вывозить фильмы, то какой смысл везти афиши, да еще русские! И пока Алеша брезгливо извлекал из моего рюкзака старую брезентовую куртку на меховой подкладке, туристический спальный мешок, стоптанные альпинистские боты, высокие эскимосские сапоги из оленьей шкуры – «кисы», трехногий стальной стульчик из моржовых костей и прочие заполярные сувениры моей последней киноэкспедиции, я, уже чтобы самому себе доказать, что их не боюсь, открыто наблюдал, как у соседнего стола они проверяют второй чемодан актрисы. Теперь таможенник вынимал нижнее белье, трусы, ночные рубашки, бюстгальтеры и спрашивал с явной издевкой:

– А это что?

– Трусики... – беззвучно отвечала актриса.

– Так... – Таможенник тщательно прощупал каждый шов в этих белых трикотажных трусиках, затем сложил свои пальцы – большой и указательный – в колечко и медленно, словно сквозь удушающую петлю, пропустил через него ночную сорочку актрисы. Затем стал прощупывать утолщения в новоизвлеченном бюстгальтере. – А это что?

– Лифчик...

– Что-что? Не слышу. Громче!

– Бюстгальтер... – По щекам актрисы покатались черные от туши слезы.

Я проследил за ее взглядом и понял, почему она плачет: по ту сторону каната стояла очередь идущих на посадку иностранцев, и они, эти иностранцы, во все глаза зырились на ее нижнее белье – нижнее белье советского производства.

– Откройте машинку, – приказал мне таможенник Алеша.

Я открыл футляр пишущей машинки.

Алеша пробежал пальцами по клавишам, вздымая рычажки букв, потом взял рукой один из рычажков и с силой надломил его. Рычажок хрустнул пополам.

– Что вы делаете??? – вскрикнул я.

Алеша хладнокровно поднес обломок рычажка к глазам и улыбнулся:

– Я думал, что рычажки золотые. От вас можно всего ожидать.

Он бросил сломанную букву в футляр машинки и надломил еще одну, испытующе глядя мне в глаза. То, что я мучительно вздрогнул от хруста рычажка, словно это не машинке, а мне самому выламывали пальцы, показалось Алеше подозрительным. Он достал из ящика стола напильник и поскреб надлом рычажка, всем своим видом показывая, что ищет золото. Потом, снова глядя мне в глаза, сломал еще одну букву...

Но я уже не вздрагивал. Машинка, на которой я собирался писать сценарий своей киноэпопеи, умирала на моих глазах, превращаясь в кусок железа. Конечно, я и до этого знал, что они варвары и фашисты, но чтобы до такой степени?!

Сломав еще пару букв, Алеша усмехнулся:

– Можете закрыть футляр. – И показал на олени сапоги. – А это что?

Однако теперь я молчал. Слепо, трясущимися руками я закрывал футляр убитой машинки.

– Эти сапоги – предмет национальной культуры, – сказал Алеша про олени «кисы». – У вас есть разрешение на вывоз?

– Нет. Можете взять себе.

Алеша сунул руку в «кисы» и скривился от запаха слежавшейся оленины.

– Ладно, это можете везти, – сказал он брезгливо. – А это что?

– Стул.

– Я вижу. Из моржовой кости? Обработанную моржовую кость вывозить нельзя.

– Это необработанная.

– Кому вы врете? Смотрите, какая полировка!

– Эта полировка натуральная – это кости моржовых пенисов, – сказал я.

И не удержавшись, добавил с издевкой: – У нас с вами в пенисах нет костей, а у моржей есть, потому что им приходится сношаться в Ледовитом океане.

Алеша оторопело посмотрел на меня, потом на стульчик. Ножками этого стульчика служили три полуметровые кости толщиной в человеческую руку и с лукообразными утолщениями на концах. На губах Алеши заиграла грязная улыбка, глаза жадно оживились, но он тут же согнал это с лица, сказал:

– Порнографию мы на Запад не пропускаем, – и решительно отложил стульчик в сторону. – Эй, вы куда?

Но я не обернулся. С демонстративным спокойствием я уже шел от Алешиного стола к актрисе, которая, кое-как затолкав свои вещи в чемоданы, пыталась дотащить их в другой конец зала, к весовой стойке. Там принимали

ручную кладь. Однако сил у нее оставалось не больше, чем у старухи Фельдман, ее щеки были в разводах от слез и поплывшей косметики.

– Разрешите помочь вам, – сказал я и, не дожидаясь ответа, взял из ее тонких белых рук чемоданы и потащил их к весовой стойке.

Затылком я чувствовал, как она удивленно смотрит на меня губицами своих огромных глаз.

– Эй, вы! – крикнул мне в спину Алеша. – Вернитесь к вашему багажу!..

6

Теперь я каждое утро бегал делать зарядку под мост Джорджа Вашингтона. По крутому спуску к Гудзону с битым стеклом на грязной бетонной дорожке Сто восьмидесятой улицы – мимо угнанных, разворованных и дотла сожженных автомобилей, каждый день других. Затем – по стальному ржавому виадуку над Риверсайд-драйв. Потом – по щербатой лестнице, поросшей пыльной травой. Далее – по гулкому каменистому туннелю под Генри-Гудзон-Парк-вэй, в этом туннеле на кусках картона почти всегда валялся черный заспанный бродяга с расстегнутой ширинкой и громадным черным членом наружу. После этого туннеля – еще одна каменная лестница, и – наконец! – я попадаю в зеленый парк вдоль Гудзона, к опорным колоннам гигантского моста Джорджа Вашингтона.

Здесь царит идиллия. На кортах, разгороженных металлическими сетками, мужчины в белых шортах играют в теннис – их стремительные ракетки отсвечивают на солнце, как шпаги. За кортом в росистой траве змеится беговая дорожка, по ней, громко дыша, бегут высокие потные атлеты с цветными повязками на лбу. За дорожкой, в аллее, под широкими кронами деревьев, молоденькие няни-бэбиситерши выгуливают черных и белых детишек и пьют воду из каменного фонтанчика. Рядом, на бейсбольной площадке, какой-то молодой отец учит сына отбивать мяч тяжелой для малыша битой.

А снизу, с юга, из тонущего в летнем мареве Манхэттена, медленно плывет по слепящему берегу Гудзона баржа, нафаршированная новенькими разноцветными автомобилями. Над баржей в ожидании еды летят тяжелые, как гуси, гудзонские чайки, но, когда баржа приближается к мосту Вашингтона, чайки отваливают в сторону, к нью-джерсинскому берегу. Гигантский, как Асуанская плотина, мост вздымается из воды стометровыми стальными опорами и ажурно, как космическая гусеница, змеится на этих опорах от берега до берега, наполняя воздух мощным гулом сотен машин, катящих по открытым жилам его ребристого туловища.

Утреннее невысокое солнце, слепящая зыбь воды, постоянный рокот машин и дрожь резонирующих стальных опор создают впечатление, что мост живет, пульсирует, извивается и плывет.

В тени береговой опоры, на росистой зеленой лужайке, почти всегда торчит полицейская машина с распахнутыми дверцами. Два здоровенных полицейских, лениво развалившись на передних сиденьях, жуют сэндвичи, пьют кофе из термоса и наблюдают, как я, стервенея от собственной слабости, отжимаюсь от земли на своих муравьиных руках, бегаю, приседаю, выжимаю булжники и, расставив скобкой ноги, с гортанным криком выбрасываю вперед руку как бы с клинком – отрабатываю приемы дзюдо. Когда-то, тридцать лет назад, меня обучали этим приемам в Советской Армии, и теперь, готовя себя к встрече с московским КГБ, я пытаюсь вспомнить все, что может защитить, если она состоится. Особенно – как локтем бить под дых, если тебя схватили сзади...

О, конечно, я согласился с предложением «Токио ридерз дайджест» поехать в Россию. Но, Боже мой, как я боюсь этой поездки! По ночам мне снятся допросы на Лубянке и камеры лефортовской тюрьмы, в которых сидели Матиас Руст и Николас Данилофф. Снятся отравленные зонтики и архивы московского КГБ, в которых лежат «Гэбэшные псы», «Кремлевские лисы», «Атака на Швецию» и другие мои антисоветские книги, изданные на двенадцати языках.

Но чем страшнее по ночам, тем яростнее я отжимаюсь по утрам на набережной Гудзона и тем подозрительнее смотрят на меня полицейские. Может быть, своими ожесточенными тренировками я напоминаю им Ли Освальда или героя фильма «Taxi driver», который в течение всего фильма тренировался, чтобы убить президента.

Но мне плевать на этих ментов. Япония, страна восходящей Иены, скупающая за миллионы долларов картины Ван Гога, Гогена, Пикассо и т. д., назвала мою сегодняшнюю цену – пять тысяч долларов. Дешевле шемакинского эстампа, дешевле самой дешевой корейской машины. Пять тысяч за Вадима Плоткина, автора бывших бестселлеров «Гэбэшные псы» и «Кремлевские лисы»! Пять тысяч – раз! Пять тысяч – два! The call, леди и джентльмены? Кто больше? Никто! Запад дал мне последнюю цену – пять тысяч долларов! Еб... мать! Пять тысяч – моя красная цена в базарный день!

Ладно! Я возьму эти деньги. Возьму. Но поеду в Россию вовсе не за ними. О нет! Где-то там, под Москвой, на пыльных полках Госфильмофонда в поселке Белые столбы, или на темных складах рязанской кинокопировальной фабрики, или в запасниках Министерства кинематографии лежит моя последняя козырная карта – мой фильм «Зима бесконечна». Я найду его! И как знаменитый теперь на Западе «Комиссар» вытащил из небытия Витю Аскольдова, так моя «Зима» вернет меня на орбиту жизни. Этого «Комиссара» гэбэшники арестовали 20 лет назад, а режиссера Аскольдова выбросили из кино, и он все 20 лет проработал администратором какой-то филармонии. Год назад гласность сняла запрет с десятков фильмов, и теперь Аскольдов ездит со своим «Комиссаром» по всем международным кинофестивалям, собирая призы и лавровые венки.

И если Аскольдов раскопал свой фильм двадцатилетней давности, неужели я не найду свой – арестованный всего одиннадцать лет назад? Может быть, именно сейчас, в этот момент, когда я отжимаюсь тут под взглядами нью-йоркских ментов, там, в Москве, на Лубянке какой-нибудь гэбэшник как раз смотрит этот фильм.

Почему бы и нет? Ведь они уже получили из Вашингтона запрос на визы для делегации американских журналистов, они уже наткнулись в этом списке на твою фамилию, затребовали из своего архивного отдела твое личное дело и с интересом читают твою первую публикацию на Западе.

.. Но вот наконец вся советская власть осталась внизу, на первом этаже шереметьевского аэровокзала, за границей паспортного контроля. А здесь, на втором этаже, импортной чистотой сияют паркетные полы и стеклянные стены, импортно растут цветы и пальмы в просторных кадках, импортно, без суеты, прогуливаются чистенькие иностранцы и с импортной вежливостью их обслуживают русские сувенирные магазины. И все это должно помочь почувствовать смятому и минуту назад ограбленному эмигранту, что он уже почти за границей. Но он озирается, еще не веря своей удаче. Он боится шагнуть по натертым до зеркального блеска полам, он с опаской, на краешек, садится в эти мягкие кресла, он осторожно делает первый глубокий вдох и ждет объявления посадки в свой самолет.

А рядом – балкон или, точнее, широкая балюстрада, нависающая над первым этажом вокзала. О, этот знаменитый балкон, о нем даже песни написаны! Потому что отсюда пассажиры могут последний раз махнуть рукой своим провожающим, остающимся внизу, в Советском Союзе. Можно даже крикнуть «Прощайте!», «До свидания!» или даже «В будущем году в Иерусалиме!» Правда, сегодня этот балкон почему-то огорожен канатом, а перед ним стоят два солдата-пограничника с автоматами на груди...

Измочаленная таможенным досмотром шатенка в рыжей куртке из коззаменителя берет за руку свою пятилетнюю дочку и направляется к балкону. Но молодой пограничник преграждает им дорогу.

– Стоп! Туда нельзя!

– Почему? – округляет глаза шатенка. – Ведь недавно было можно.

– А теперь нельзя! – И второй солдат подходит к первому, и они становятся рядом, с автоматами на груди, словно готовясь отразить вооруженную атаку.

Шатенка смотрит в глаза этим восемнадцатилетним русским парням и говорит просительно:

– Ну, ребята! Пожалуйста, пропустите!.. Ну, хорошо, я не пойду туда, но разрешите моей дочке, у нее там внизу стоит отец. Пусть она ему хоть рукой помашет! Ася, – и шатенка наклоняется к дочке, – попроси дядю, чтобы он пустил тебя сказать папе «до свидания».

И девочка – не по годам серьезный ребенок – говорит этим солдатам:

– Дяди, пожалуйста, пропустите меня. У меня там папа. Он русский, он не едет в Израиль.

И я вижу, что эти ребята колеблются под просящим взглядом ребенка и даже делают какое-то движение, собираясь расступиться. Но в этот миг подходит женщина в форме капитана таможенной службы и суровым тоном говорит шатенке:

– А ну отойдите от государственной границы! Не положено тут стоять! Идите отсюда! – И, прямая, уверенная в непререкаемости своего приказа, удаляется с гестаповским стуком хромовых сапожек, подбитых стальными подковками.

Круглое лицо шатенки вдруг заостряется злостью. Быстрыми нервными движениями она открывает футляр детской скрипки, сует эту скрипку своей дочке, повязывает ей на плече крохотную подушечку и говорит с яростью:

– Играй! Сыграй им, Ася! Только громко! Полным звуком! Чтобы твой папа услышал! Он услышит! Он услышит и поймет, что это ты играешь для него! Играй, Ася! Вот смычок!

– А что играть, мама? – Девочка устраивает скрипочку на плече, на подушечке, и опломбированным смычком трогает струнки своей опломбированной скрипки.

– Генделя! Шестую сонату! – нетерпеливо говорит ей мать.

Но девочка вдруг отводит смычок от скрипки:

– Третья струна расстроена, слышишь?

– Не важно! – нервно торопит мать. – Ты играй!

– Нет, я так не могу играть, – говорит ребенок, и видно, что она не капризничает, а просто обучена относиться к музыке профессионально. И только когда ее мать подтянула струну, провела по ней смычком и спросила у дочки: «Так?» – девочка кивнула и заиграла.

– Полнее! – требует мать. – Полнее звук! Громче!

И я вижу торжество на ее лице – она ответила таможене за все унижения!

Звуки детской скрипки заполнили разом зал. Они были такие не детские мощные, что, конечно, легко преодолели Государственную границу СССР – никакие солдаты не смогли их остановить. И уже иностранцы стали останавливаться возле шатенки, недоуменно глядя на крохотную девочку, игравшую Генделя, и на двух солдат, возвышающихся над ней с автоматами на груди.

В это время по радио объявили посадку на рейс номер 228 «Москва – Вена». Стоявшая поодаль, у лестницы, группа эмигрантов подхватила свои сумки, детей и старух и поспешила на посадку. Девочка отняла смычок от скрипки, перестала играть, вопросительно посмотрела на мать.

– Играй! – торжествующе сказала шатенка. – Играй, Ася!!!

Но из глубины зала поспешной солдатской походкой уже возвращалась к месту происшествия все та же женщина-капитан. Ее лицо пылало от гнева. Она подошла к шатенке и спросила зажатым голосом, чтобы не слышали иностранцы:

– Это что за концерт?!

– Это не концерт, – громко ответила шатенка. – Это репетиция. У нее режим – она должна каждый день заниматься, сейчас как раз время ее урока.

Они стояли друг против друга: прямая, как штык, женщина, офицер таможенных войск КГБ в сером кителе с натертыми до блеска пуговицами, и сутулая шатенка в рыжей куртке из кожзаменителя и в стоптанных сапогах. И между ними – пятилетняя девочка с маленькой скрипкой на плече и замершим в воздухе смычком. А они, две взрослые женщины, все смотрели друг другу в глаза – долго, упорно, с ненавистью. Несколько иностранцев стояли в стороне и ждали, чем это закончится.

На часах в зале было 12.20, через двадцать минут мы должны были улететь в эмиграцию, это были наши последние минуты на советской земле.

– Это вам объявили посадку? – спросила у шатенки женщина-капитан.

– Да!

– Вот и летите! Там будете концерты давать.

– Да! – победно усмехнулась шатенка. – Там будем концерты давать! Для того и летим.

Женщина-капитан ничего ей не ответила. Она взяла у ребенка скрипку и смычок, осмотрела пломбочки на них. Все было в порядке, не придерешься – маленькие свинцовые пломбочки с печатью Министерства культуры СССР висели на тонких стальных проволоках, обжимая гриф скрипки и смычок, как маленькие кандалы. Капитан положила скрипку и смычок в футляр и ушла, бросив взгляд на иностранцев, стоявших рядом.

«Заканчивается посадка в самолет, следующий рейсом номер двести двадцать восемь по маршруту «Москва – Вена», – снова прозвучало по радио.

Боже, подумал каждый из нас, неужели сейчас мы действительно улетим от всего этого? От проверок, досмотров, запретов и фашистских охранников этого коммунистического рая?

Девочка взяла свою скрипку и пошла с матерью к выходу на посадку. Но здесь был затор. Оказывается, наши испытания еще не кончились. Оказывается, даже здесь, в последнюю минуту уже при выходе на посадку, нас подстерегала еще одна ловушка. Таможенники, стоявшие при арке микроволновой проверки на металл, остановили молодую актрису.

– Стойте! Что у вас на руке?

– Как что? Обыкновенное кольцо. Обручальное.

– Но вы же едете одна!

– Да, я развелась с мужем. Но вывезти кольцо я имею право.

– Нет, это контрабанда.

– Какая контрабанда? Что вы! Нам разрешено иметь при выезде женских украшений не дороже 250 рублей.

– Это кольцо стоит дороже.

– Что вы! Оно стоит 120 рублей.

– У вас есть справка из магазина? Ах, нет справки? Значит, вы не летите. Мы снимаем вас с рейса за провоз контрабанды.

– Но у меня же билет!

– Это нас не касается. Можете оставить кольцо и лететь. Иначе – нет.

Что делать? Что делать людям, когда у них уже отобрали все еще раньше, а самолет в Вену – вот он, за окном, и до отлета всего восемь минут, а эти молодые таможенники смотрят на вас спокойными глазами мародеров? Да подавитесь вы этим кольцом, нате!

И красивая актриса, ломая пальцы и морщась от боли, рвет кольцо с тонкой руки и швыряет им, собираясь идти наконец на посадку.

– Нет! – усмеваются они. – Это не все. Раз вы отдали кольцо, значит, вы признали, что это контрабанда. И в таком случае платите штраф за попытку провоза контрабанды – сто рублей. И спешите, самолет сейчас улетит. А за вами люди стоят...

– Но у меня нет рублей! – отчаянно восклицает актриса. – Откуда? Ведь советские деньги нельзя вывозить!

– Платите долларами. Вы же поменяли на доллары девяносто рублей. Вам дали за них в банке сто тридцать шесть долларов. Вот и платите сто тридцать шесть долларов. И быстрее, мы из-за вас самолет задерживать не будем. Давайте ваши доллары, быстро!

И растерянная актриса какими-то заторможенными, как в ступоре, движениями отдает им последние деньги, а они прячут за щеки свои ухмылки, а в карманы ее кольцо и ее доллары. И если вы не были ярыми антисоветчиками до отлета, то вы станете ими в эти дни, когда это «прекрасное» государство, уже не стесняясь, показывает вам свое истинное лицо мародера.

А часы идут – шесть минут до отлета, пять...

Мы нетерпеливо топчемся у спуска на летное поле, как вдруг на лестнице, ведущей из таможенного зала, появляется странная процессия: два грузчика, сцепив руки замком, несут сидящую на их руках девяностолетнюю старушку, седую и легкую, как одуванчик. Они вносят ее на второй этаж, сажают в кресло, подходят к таможенникам и объясняют, что старуха летит к своим детям в Израиль, но она парализована, вот справка от врача, а вот квитанция об уплате за «сервис» – они отнесут ее прямо в самолет. Конечно, мы все понимаем, что эта старушка заплатила грузчикам бешеные деньги за сервис и они поделятся с таможенниками. Потому те согласно кивают, грузчики возвращаются к старушке, берут на руки и вне очереди, впереди всех нас, несут ее на посадку.

И вот когда мы выходим на летное поле, а потом подъезжаем автобусом к самолету и до трапа остается десять шагов, старушка-одуванчик вдруг властно останавливает своих носильщиков:

– Отпустите меня! Отпустите!

Недоумевая, они приспускают ее к земле, а она вдруг с мучительной натугой разгибает свои тонкие парализованные ножки, становится на них и идет, шатаясь, к самолету. Мы все бросаемся к ней, боясь, что она упадет, кто-то подхватывает ее под локоть, но она отнимает свой старческий локоток и жестко говорит:

– Не надо! Я сама уйду с этой земли!

И сама, поверьте, сама – мы только шли по бокам старухи, – поднялась в самолет по трапу.

Господи, подумал я, какую же силу ты даешь порой этому маленькому народу и какую же ненависть надо было скопить к этому государству, чтобы

он мог вот так разогнуть парализованные ноги, встать наконец и уйти с этой земли!..

– Не! You are workin hard [Эй ты, надорвешься]!

Отжимаясь от земли, я увидел перед собой шнуровку тупоносых черных ботинок и задрал голову вверх. Надо мной, заслонив солнце, стоял полицейский в отглаженных брюках; на его широком поясе висели пистолетная кобура, резиновая дубинка, коробка с патронами, уоки-токи, стальные наручники и кожаный планшет.

– В чем дело? – спросил я не вставая.

– Встань...

Я встал, краем майки утер пот со лба. Полицейский был выше меня на голову и вдвое шире в плечах.

– Твое гражданство?

– США. А в чем дело?

– Ты живешь в этом районе?

– Да. На Сто восьмидесятой улице. А что?

– Ты видел этого мужика? – Полицейский достал из планшета фоторобот – портрет не то негра, не то испанца.

– No, – сказал я.

– Посмотри внимательно! – приказал он.

– Тут не на что смотреть. Вы даже не знаете, он черный или испанец.

Полицейского это озадачило.

– Откуда ты это знаешь?

– Глянь на эти губы, – сказал. – Это губы черного или испанца?

Полицейский посмотрел на фоторобот.

– Well... – сказал он в затруднении. – Н-да... Кажется, ты прав. Ты кто по профессии?

– Я писатель.

– Писатель? Если ты писатель, чего ты надрываешься, как спортсмен?

– Я собираюсь в командировку в Россию.

– Ясно. У них там столько же преступности, сколько у нас?

– Больше.

– Да ладно! – не поверил полицейский. – Я видел Горбачева по телику. Он замечательный мужик, не так ли?

Я поглядел на полицейского снизу вверх. Ему было лет сорок, у него была красная шея и конопатое лицо огайского фермера, но акцент негритянский – скорее всего от постоянной работы в Гарлеме. Прочсть ему лекцию о России и Горбачеве или не ввязываться в дискуссию? Эти американцы знают о России столько же, сколько я о Тунисе или Индонезии.

– Может быть... – сказал я уклончиво и кивнул на фоторобот, который полицейский уже прятал в планшет. – А кто это?

– Насильник и перевозчик наркотиков. А наркоманы есть в России?

– Конечно. Наркоманы, насильники, грабители, рэкетеры и даже мафия. И плюс – КГБ.

– Так зачем туда ехать в таком случае?

– Я должен.

– Ладно. Желаю удачи. Только будь там осторожен.

– Thanks, – сказал я и побежал домой – через туннель, где валялся черный бродяга с вывалившимся из ширинки членом, по загаженной бетонной дорожке вверх – мимо разворованных и сожженных автомобилей, по Сто восьмидесятой улице, мимо ватаги черных и испанских подростков, которые при красном светофоре стремительно набрасываются на машины и мыльной пеной замазывают стекла еще до того, как водители успевают сказать, нужно ли им

мыть машину... Потом, задыхаясь, я взбежал по пыльной лестнице дома, где я жил теперь у Максима, – мимо груды мусорных мешков на каждой лестничной площадке...

Еще не вставив ключ в замочную скважину, я услышал за дверью телефонный звонок. Никто не снимал трубку – Максим еще с ночи ушел в церковь к утренней службе. Второй звонок, третий. Наверно, это Лиза по поводу денег или у Ханочки простуда. Быстрей!

Наконец я открыл три замка на обшарпанной двери, вбежал в квартиру, огляделся – где же этот f... телефон? С некоторых пор я обнаружил, что стоит мне поговорить даже недолго по-английски, как я мысленно перехожу на английский, и особенно на мат.

Телефон стоял в кухонной раковине. Я схватил трубку.

– Алло!

– Mister Plotkin? – сказал бодрый мужской голос.

– Yes.

– Это Барри Вудстон из Вашингтона, из Международной ассоциации журналистов. Поздравляю! Я был в советском посольстве, хотел получить визы для нашей делегации. И – вы не поверите! – ни одна виза не готова, кроме вашей! Только ваша! Так что готовьтесь! Вполне может случиться, что вы поедете один и будете представлять там всех нас! Ха! Ха! Ха! Вы рады?

– Yes, thank you [Да, спасибо]... – сказал я помертвевшим голосом и сел на стул. Я все понял. Еще ни одному туристу, а тем более русскому эмигранту, советское посольство не давало въездной визы так быстро. Обычно они тянут до последнего дня и даже натуральным американцам дают визу лишь за несколько часов до вылета. А мне – за неделю! Все ясно, они оформили мне визу раньше всех, потому что для КГБ я «the Most Wanted Man» – тот, кого разыскивают. То есть все мои ночные страхи подтвердились! КГБ хочет заполучить меня в СССР, а эти девчонки-секретари в посольстве случайно прокололись и выдали своих боссов. Но как же мне теперь отказаться от поездки? Ведь японцы уже заплатили три тысячи долларов за мой билет и за отель в России. Где я возьму деньги, чтобы вернуть им такую сумму?

– Так что увидимся в аэропорту! – бодро сказал в трубке голос Барри Вудстона из Вашингтона. – Пожалуйста, приезжайте туда за два часа до вылета, хорошо?

– All right... – без голоса отозвался я. И сидел, не опуская трубку и не слыша, что в ней уже давно гудят гудки отбоя.

...Он уже был в автобусе, который подъехал к выходу на летное поле, чтобы везти нас к самолету. Высокий крупный шатен лет тридцати восьми – стальные глаза, квадратный подбородок боксера, нос, как у Хруща – картошкой, политбюрошная шляпа, узкий серый галстук и потертый пиджак на бычьей груди, расширенный пистолетной кобурой, спрятанной под мышкой, – стоял в этом замороженном, в белом инее на заклепках, автобусе, стоял, возвышаясь у первого ряда кресел, и молча наблюдал, как мы рассаживаемся. Ася, маленькая скрипачка, влезла в автобус первая и побежала вперед, чтобы сесть у окошка, как это любят дети. Но он жесткой, сильной рукой отодвинул девочку назад – без единого слова, как вещь. Он стоял лицом к нам, как статуя на площадях народных гуляний, все эти пятьсот метров между аэропортом и самолетом. А в самолете прошел в самый конец салона и сел в последнем ряду, чтобы видеть нас на протяжении всего полета.

Но нам уже было наплевать на него!

Мужчина, у которого отняли серебряные вилки, сказал громко и вызывающе:

– Я не понимаю! Они что – боятся, что мы угоним этот самолет обратно в Россию?

Жена испуганно дернула его за рукав:

- Тихо! Не дразни их. Черт с ними!
- Но я уже свободный человек! – воскликнул он.
- Этого я еще не знаю... – осторожно ответила она.

И действительно, почему даже в самолете нас посадили отдельно от остальных пассажиров... СССР – страна всеобщего равенства, и в советских самолетах теоретически нет деления на первый и второй класс. Тем не менее в первом салоне огромного «Ту-124» летели всего четыре советских дипломата, отстраненно-надменных, в одинаковых серых костюмах (даже проходя через наш салон в туалет, они старательно избегали встречаться с нами глазами, делая вид, что нас не существует). В третьем салоне были только иностранцы – австрийцы и немцы. А мы, двадцать семь измочаленных эмигрантов, включая грудного ребенка, парализованную старуху, умирающего от лейкемии одесского сварщика, 16-летнюю девчонку с распухшими от поцелуев губами и пятилетнюю скрипачку, оказались в полупустом среднем салоне. Единственным советским пассажиром, который летел с нами, был наш вышибалоподобный страж. Он сидел в одиночестве на шести задних сиденьях. Между нами было несколько рядов пустых кресел, и через эту нейтральную полосу он, словно лагерный часовой, молча наблюдал, как из третьего салона к нам приближались два австрийца – они оказались врачами и примчались спасать умирающего от лейкемии. Таможня так и не разрешила отцу этого парня взять для него лекарства. Теперь этот обреченный гигант лежал на двух сиденьях с откинутыми спинками, припав к кислородной подушке, а его отец и мать каждые пять минут трогали его желтые, как из слоновой кости, босые ноги, торчащие из штанин, – проверяли, не холодеют ли.

Австрийцы-врачи, открыв свои докторские чемоданчики, бессильно лепетали что-то по-немецки, отец больного отвечал им на идиш, а позади них, в следующем ряду, сидела молодая толстая жена сварщика с младенцем. Почему-то этот крикливый ребенок, часами изводивший нас своим ором на вокзале, мгновенно умолк, едва мы вошли в самолет. Возможно, он родился антисоветчиком и там, в СССР, от всего советского у него были колики в животе. Или, может быть, с молоком матери ему передавалась и ее нервозность – то-то в Шереметьеве он с отвращением выталкивал изо рта ее большую синюю грудь. Едва мы зашли в самолет, как малыш вдруг смачно засосал эту же грудь своими плотоядными губами и через минуту уснул, зарозовев щеками...

Девять семей, двадцать семь человек, включая двух старух и младенца, – неужели в КГБ считали, что мы представляем опасность для других пассажиров? И в чем, собственно, могла заключаться эта опасность?

– Интересно, у него пистолет справа под мышкой, – вдруг громко сказал задира мужчина, у которого отняли серебряные вилки. – Значит, он левша!

– Заткнись! – локтем толкнула его жена.

Но тот продолжал как ни в чем не бывало:

– Понимаешь, я читал в «Неделе», в рубрике «Люди редких профессий»: такие охранники самолетов должны заранее наметить, в кого они начнут стрелять в случае инцидента. Он просто обязан это сделать – это азбука его работы! Поэтому он и был с нами в автобусе. Интересно, кого он выбрал?

– Тебя, конечно! – сказала жена.

– А я думаю, что он может начать с детей. Чтобы сразу потрясти нас всех...

– Идиот! – сказала его жена, увидев, как мать младенца и мать девочки-скрипачки непроизвольно повернулись к гэбэшнику.

– А что я такого сказал? – Мужчина пожал плечами. – Они нас всех держали под прицелом с момента рождения, разве нет? И для каждого грели под мышкой пули...

– Слушайте, прекратите! – вдруг раздраженно бросил этому задиру отец умирающего сварщика. – Нам тут только скандала не хватает! Если они задержат вылет еще на двадцать минут, я не доведу сына живым...

Мужчина с обидой на лице отвернулся. Неутоленная месть за отнятые вилки еще клокотала в нем, но спорить с отцом умирающего он не стал. Тем более что тот добавил примирительно:

– Мы уже выше этого, понимаете? Мы уже улетаем... Посмотрите в окно!

Мы посмотрели в окно и увидели, что наш самолет на взлетной полосе. В этот миг двигатели взревели, сотрясая самолет лихорадочной дрожью, потом сорвали его с места и...

Последние метры советской земли побежали за иллюминатором, съедаемые скоростью. Тяжелый, как гусь, «Ту-124», казалось, еле отрывался от щербатой бетонки взлетной полосы. А мы, сидя в креслах, мысленно подталкивали его вверх: «Ну! Ну! Ну же!..» И вдруг – тряска кончилась, мы – взлетели!

– Ур-р-ра! – заорал мужчина, у которого отняли вилки, и обнял свою жену.

– Ура! – подхватили мы, а я подумал: Господи, ведь мы и вправду уже улетаем от них! От ГУЛАГа, погромов, психбольниц, допросов КГБ, доносов в парткомы, прописок, пятого пункта, процентной нормы, принудительного распределения на работу, профсоюзных, комсомольских и партийных поручений, «добровольных» субботников, подписки на «Правду», уборки картошки за колхозников, изучения брежневских речей и «Морального кодекса строителя коммунизма». Теперь от всего этого набора позади нас оставались всего-навсего девять граммов свинца под мышкой у этого гэбэшника! Да плевать нам на это – мы взлетели, ВЗЛЕТЕЛИ!

И тут все, даже мужчина, у которого отняли серебряные вилки, стали громко шутить и еще громче хохотать, вспоминая шереметьевских таможенников, изображая их в лицах, как в пьесе. Даже отец умирающего сварщика показал, как я взбесился, когда Алеша сломал первую клавишу у моей пишущей машинки. «Я решил – все, золотые клавиши, сейчас рейс задержат! – сказал он. – А оказалось! Да я вам их в Вене на спичках припаяю!..» Мужчина-задира вдруг сам стал хохмить по поводу своих пропавших вилок: «Вообще-то это тещины вилки, а она мне никогда не приносила счастья! Так что даже хорошо, что тещино несчастье осталось!

Сейчас, вспоминая эти шутки, я не нахожу в них ничего смешного. Но я хорошо помню, что там, в самолете, мы смеялись так, словно закурили марихуаны. А может, мы и вправду были пьяны свободой, как зеки, удачно бежавшие из тюрьмы. Мы хохотали, хлопали друг друга по плечам, делились бутербродами и настойчиво угощали австрийцев шоколадом «Аленка» и конфетами «Мишка косолапый», которые все-таки удалось пронести в самолет. При этом мы с нелепой гордостью говорили австрийцам: «Русские конфеты! Russian чоколадо!» – по советской привычке считая, что русский шоколад самый лучший в мире.

Австрийцы вежливо откусывали подтаявшую, в мятой обертке «Аленку», с интересом посматривали на нашу актрису, сидящую у окна, и уже через полчаса полета уговорили командира самолета радировать в Вену, чтобы прямо в аэропорту, у трапа, нас встречала ambulance с аппаратом переливания крови. При этом все мы вызывающе демонстративно игнорировали теперь этого гэбэшника в конце салона. После двух суток совместного пребывания в шереметьевском аэропорту мы, совершенно незнакомые люди, вдруг стали одной семьей. Ведь мы уже все знали друг о друге: кто откуда, с кем прощался, куда летит, в Америку или в Израиль, и что каждый везет в своих чемоданах, – мы даже видели нижнее белье нашей актрисы! Два инвалида – парализованная старушка и умирающий сварщик – стали теперь нашими общими родственниками, а двое детей – грудной ребенок сварщика и Ася-скрипачка – нашими общими детьми. Мы поминутно смотрели на них: младенец спал на руках матери, а Ася – уронив голову набок, на свою белую кроличью шубку. Оба дышали глубоко и спокойно, губы были полуоткрыты. И видя этих сладко спящих детей, мы гордо переглядывались, как бы говоря: да, все-таки мы добились своего, главного – мы вывезли с этой гибельной земли юные еврейские корни! Конечно, там, на Западе, их ждут проблемы роста – мы знаем, мы читали в газетах про наркотики и все прочее. Но мы верили, что никто там не станет внушать нашим детям любовь к дедушке Ленину, никто не заставит их доносить на родителей, не бросит в ГУЛАГ или в психбольницу и не будет всю жизнь держать их затылки под прицелом холодных гэбэшных глаз.

Кажется, даже врачи-австрийцы поняли, о чем мы думаем, глядя на наших детей.

– Мазл тов, – вдруг сказал нам один из австрийцев, и мы дружно расхохотались, и я еще раз и с удовольствием попробовал на языке это давно забытое еврейское слово, которое слышал только в далеком детстве, от дедушки: мазл тов, счастливчик...

В Вене, в аэропорту, едва к самолету подали трап, наш охранник первым пошел к выходу – его миссия закончилась! Он пробежал вниз по трапу и вошел в пустой австрийский автобус, сияющий чистотой, как концертный рояль. Но не мог уехать сразу, потому что этот автобус ждал нас, а не его. И теперь этот гэбэшник был вынужден наблюдать, как мы выходим из самолета в новый мир.

Здесь, в этом новом мире, было удивительно тепло и солнечно, словно мы перелетели на другую планету. Только значительно позже я сообразил, что Вена просто много южнее Москвы. А в те минуты я лишь изумлялся.

Здравствуй, новый мир! Какой ты?

Поодаль от самолета, метрах в двухстах, виднелось стеклобетонное здание аэропорта с надписью «Вена». А под самолетом рядом с автобусом стояли белые машины «скорой помощи», и два санитары с носилками уже бежали по трапу, чтобы забрать нашего умирающего.

И мы, все еще ощущая себя одной семьей, первым делом вынесли из самолета наших детей и старуху. Я помог шатенке спустить разморенную сном скрипачку из самолета в автобус и, полный знобюще-веселого возбуждения, тут же – навстречу красивой актрисе – взбежал обратно в самолет, поднял там на руки парализованную старушку и понес вниз по трапу. Старушка обняла меня за шею – она была легче перышка. А может быть, это Бог дал мне тогда силы даже не почувствовать ее тяжести. Я посадил старушку на кресло в автобусе

и опять побежал вверх по трапу, но внезапно ощутил какой-то холодок в затылке.

Я оглянулся и встретил холодные, светлые гэбэшные глаза. О, это были еще те глаза! Теперь наконец в них появилось выражение – выражение чистой, как шведская водка «Абсолют», ненависти. С каким удовольствием, нет, с наслаждением, он вытащил бы сейчас свой теплый пистолет и разрядил в меня всю обойму! Почему? Да потому, что я таки ушел от их власти, да еще помогаю теперь уходить другим, и открыто, победоносно радуюсь свободе!

Я прочел его взгляд, улыбнулся ему и побежал вверх по трапу с новой энергией.

Внутри самолета санитары укладывали гиганта-сварщика на высокую тележку-носилки. Его отец и мать молча стояли рядом, а толстая жена рыдала в своем кресле, держа проснувшегося младенца на животе.

Я взял, а точнее, выхватил у нее ребенка и сказал жестко:

– Пошли!

Когда женщины плачут, необходим строгий повелительный тон. Она встала и послушно пошла за мной к выходу, уронив с колен детскую соску и запасную пару крохотных белых детских ботиночек.

Я вышел из самолета, держа на руках еврейского младенца. И уже сам нашел взглядом этого гэбэшника. Я демонстративно выносил еще одного ребенка с советской территории, как выносят из радиоактивной зоны, и не было в тот момент на земле мужчины сильнее и счастливее меня! Я чувствовал себя сионистом, солдатом, бойцом, гранитным памятником в Трептов-парке! Если бы этот гэбэшник поднял сейчас пистолет, я с ликующим криком прикрыл бы этого ребенка своей грудью. Да, есть вещи, о которых люди пишут с гордостью, а есть – о которых умалчивают от скромности. Я же горжусь, что в тот момент чувствовал себя стопроцентным евреем и стопроцентным мужчиной.

Я шел по трапу с ребенком на руках и смотрел этому гэбэшнику прямо в глаза. И было такое напряжение в нашей молчаливой дуэли, что все обратили на это внимание и замолчали на миг, а мать девочки-скрипачки сказала мне:

– Умоляю, не дразните его!

– Почему? – улыбнулся я и, не отводя взгляда от светло-голубых глаз гэбэшника, передал жене сварщика ее грудного ребенка.

И тут гэбэшник отвернулся.

Он отвернулся с полным безразличием на лице, но мы-то с ним уже поняли друг друга!

Он отвернулся, вышел из автобуса и направился к служебному мини-автобусу, который прикатил за советским экипажем – пилотами и стюардессами.

Он присоединился к ним, к советской команде, и мини-автобус повез их куда-то в глубину аэропорта. Но в самый последний миг, когда автобус уже сворачивал за угол аэровокзала, гэбэшник вскинул глаза и глянул на меня с таким прищуром – именно прищуром! – с каким смотрят сквозь прицел снайперской винтовки.

* * *

Тут с Бродвея ворвалась в окно очередная не то полицейская, не то медицинская сирена. Я посмотрел на телефонную трубку в руке, она уже давно пищала короткими гудками. Я вспомнил, что советское посольство выдало мне визу на поездку в СССР. Мне, единственному из всей делегации.

Я дал отбой, прокашлялся и потом медленно набрал на телефонном диске бостонский код 617 и номер своего адвоката.

– Attorney Breslaw’s office (Офис адвоката Бреслава), – тут же отозвался молодой звонкий женский голос.

– May I talk to Mr. Breslaw [Господина Бреслава, пожалуйста], – сказал я, все еще представляя себе глаза того гэбэшника.

– Who is calling, please [Кто спрашивает]?..

– Vadim Plotkin.

– Just a second [Секундочку], – почти пропела секретарша, и в трубке тут же зазвучал мужской голос:

– Hallo, Mister Plotkin! What can I do for you [Алло, мистер Плоткин. Чем могу быть вам полезен]?..

– I want to draw up a will, – сказал я. – How much would it cost [Я хочу составить завещание. Сколько это будет стоить]?

7

– Если меня убьют в Москве, – сказал я в Бостоне тому самому адвокату, который оформлял наше с Лизой соглашение о разводе, – то скандал подтолкнет издателей переиздать мои книги. Но я не хочу, чтобы Лиза растранила мой гонорар на шмотки и рестораны. Я хочу, чтобы Хана получила эти деньги в день своего совершеннолетия...

Подписав завещание, я вышел на раскаленную улицу и как-то по-новому, будто в перископ, увидел свою новую родину.

Раскаленный и душный воздух плыл над Chestnut Hill, два потока машин медленно двигались в этой сауне.

Ровно десять лет назад в Нью-Йорке, за окнами кабинета кинопродюсера Лео Алтмана, стояла такая же жара, а по стенам кабинета бродили гигантские летающие муравьи – огромные, как крокодилы, – именно такими они были изображены на афишах – крылатые муравьи-динозавры, налетевшие на Нью-Йорк, – которыми были обклеены стены кабинета. Я никогда не видел этот фильм, но слышал, что он имел кассовый успех. Правда, судя по тому, что афиши изрядно выцвели, после «Муравьев» независимая кинокомпания «Алтман продакшн, инк.» значительных успехов в кино не имела. Может быть, поэтому мистер Алтман согласился принять советского эмигранта-режиссера, у которого «есть замечательная идея для фильма». А может быть, мисс Санди Копелевич, моя ведущая в HIAS⁴, была его родственницей. Не знаю. Знаю только, что тогда, летом 1979 года, у меня произошла небольшая «война» с этой мисс Копелевич. Потому что еврейская организация HIAS, получая от United Jewish Appeal⁵ и от американского конгресса деньги на устройство еврейских беженцев, считает себя не только опекуном, но и рабовладельцем.

– Америке не нужны режиссеры! – раздраженно сказала мне мисс Копелевич, молодая худенькая брюнетка с манерами капризной восточной принцессы. И бросила через стол рекламную страницу «Нью-Йорк таймс». – Смотрите! Здесь нет ни одного объявления про режиссеров! Видите? Америке нужны механики, токари, сантехники, чертежники и банковские кассиры. А вы даже для этой работы не годитесь! Поэтому вам придется начинать на фабрике конвертов, четыре доллара в час. Между прочим, мой дедушка тоже начинал с четырех долларов, когда приехал сюда из Германии. Только ему платили четыре доллара не за час, а за день! Вот адрес этой фабрики, запишите!

– У меня есть замечательная идея для фильма, и я хотел бы встретиться с каким-нибудь продюсером, – сказал я, покрываясь испариной от собственной настойчивости.

– Мистер Плоткин! – Мисс Копелевич откинулась в кресле, на ее лице появилась гримаса великомученицы, словно она разговаривает с дебилом. – Только в этом месяце у меня было шесть режиссеров, восемь кинооператоров, четырнадцать артистов, сорок журналистов и тридцать семь художников! Age you sгазу [Вы что – сумасшедшие]? Зачем вы все сюда едете? Или вы думаете, что мы тут живем без кино, без театров, без искусства? Возьмите адрес этой фабрики – это лучшее, что я могу вам предложить!

Я встал со стула.

– Спасибо. «Нью-Йорк таймс» я могу и сам посмотреть в библиотеке.

Она презрительно фыркнула:

– Вы же не умеете читать по-английски!

– Я прочту со словарем...

⁴ Международная еврейская организация (англ.).

⁵ «Международный еврейский призыв» (англ.).

– Если не пойдете на эту работу, я сниму вас с пособия, – сказала она и нервно бросила себе в рот зеленую освежающую пилюльку «Тип-топ».

– А если пойду?

– Well, одиноких мужчин мы не держим на пособиях больше двух недель. Ваш срок кончается через неделю, в следующий понедельник вам придется освободить отель. Где вы будете жить, если не возьмете эту работу?

Я кивнул за окно, которое выходило на Юнион-сквер.

– На скамейке. У меня есть спальный мешок. По крайней мере там не будет тараканов, как в вашем отеле.

Она уставилась на меня своими еврейскими глазами, разгорающимися, как угли. Уж если я умею читать в глазах русских, украинцев, азербайджанцев и всех остальных, населяющих СССР, то читать в еврейских глазах мне положено по происхождению. В глазах мисс Копелевич я прочитал: «FUCK YOU! Я ВАС ВСЕХ НЕНАВИЖУ И ПРЕЗИРАЮ! ВАШИ ПРЕТЕНЗИИ, СМЕШАННЫЕ С ЗАПАХОМ ПОТА, ВАШИ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ РУССКИЕ АМБИЦИИ, ДИПЛОМЫ, НАУЧНЫЕ ЗВАНИЯ – ДА ЧТО ОНИ СТОЯТ У НАС В АМЕРИКЕ?! ПОЧЕМУ Я, САНДИ КОПЕЛЕВИЧ, ДОЛЖНА ВОЗИТЬСЯ С ВАМИ? FUCK YOU AGAIN! ИДИТЕ И РАБОТАЙТЕ ГРУЗЧИКАМИ, НАЧИНАЙТЕ С НУЛЯ! ИЛИ КАТИТЕСЬ К Е... МАТЕРИ!»

Даже не зная английского, я понял это без перевода и без словаря. Но ведь и она, наверно, увидела кое-что в моих глазах. И кажется, я даже знаю что. Потому что хорошо помню, о чем я подумал в ту минуту. Я подумал о том, как под ее темной свободной блузкой, от закипевшей во всем ее естестве ненависти, топорщится маленькая грудь и что именно такие худенькие, плоскогрудые девки совершенно сатанеют в постели, а еще больше на полу, на столе, на подоконнике... Господи, всего несколько месяцев назад в Москве, в Ленинграде, в Новосибирске, в Свердловске и еще в сотне других русских городов я мог иметь таких девок сколько душе угодно! Ведь при одном слове «кино» у них все начинало вибрировать. Но теперь все поменялось местами, и теперь она посылает меня к такой-то матери. И я сам это устроил себе – сам! – ведь никто не выгонял меня из СССР – только запретили фильм. Но если бы я согласился его переделать, я мог бы и сегодня, сейчас, выламывать вот такую Копелевич где-нибудь на «Мосфильме» или на Одесской киностудии, да разве ее одну?!

И вдруг мне стало до того горько за самого себя, что перспектива ночлега на Юниорсквер меня даже обрадовала. Страдать – так страдать! До конца, по русской традиции!

Я не знаю, что именно мисс Копелевич прочла в моих глазах – некий сексуальный мираж или реальную возможность оскандалить НIAS первым еврейским эмигрантом-бродягой, но она вдруг сказала:

– Выйдите в коридор и подождите. Моя ассистентка позовет вас.

Я вышел, а через пять минут был позван назад.

– Here is a deal [Давайте договоримся], мистер Плоткин, – сухо сказала мисс Копелевич, пряча глаза в какие-то бумаги. – Я отправлю вас на интервью к известному кинопродюсеру. Но при одном условии: если он не возьмет ваш проект, вы пойдете на первую же работу, которую я вам предложу. Deal [Договорились]?

И вот я сижу в кабинете мистера Алтмана. На стенах афиши с гигантскими летающими муравьями-крокодилами, за окнами – Бродвей в районе пятидесятих улиц, а на необъятном письменном столе хозяина – завал сценариев, режиссерских разработок и бестселлеров в ярких обложках. Сбоку – два каких-то приза. Не Оскары, но фестивальные призы с золотыми монограммами. Короче говоря, вот твой шанс, Плоткин, не упусти судьбу из рук!

И я, потный от возбуждения, прорывал свою немоту в английском языке неистовой жестикуляцией и почти актерским показом всей фабулы «Еврейской дороги». Впрочем, никакой немоты не было – я говорил! Я – по-английски! – говорил без остановки ровно сорок минут! Из пятидесяти известных мне в то время английских слов я комбинировал речи, диа-

логи, ремарки и описания персонажей от цвета босых ног умирающего сварщика до красочной, как мне казалось, сцены отправки эмигрантов из Вены в Италию: посреди мирной Европы 1979 года австрийские солдаты с овчарками оцепили наш поезд на случай атаки арабских террористов! И наконец, я даже перевел ему с итальянского смысл транспарантов, которые несла гигантская демонстрация итальянских медсестер по виа Венето в Риме: «Мы хотим, чтобы нам давали мясо два раза в день, как медсестрам в СССР!» Когда мы, эмигранты, только что вырвавшиеся из России, увидели море красных знамен с серпами, молотами и идиотские транспаранты, мы чуть не бросились бить этих итальянских идиотов в черных рясах...

Это был фильм одного актера. Я бегал по кабинету, показывая, как старуха Фельдман ползала в шереметьевской таможне от одного таможенника к другому. Я садился на пол, изображая, как сутками сидят эмигранты в венском отделении НIAS. Я сворачивался бубликом, как в багажниках машин сворачиваются нелегальные эмигранты, когда их провозят из Италии в ФРГ. И я танцевал фрейлехс, как мы – впервые в жизни! – танцевали его в римской синагоге на Пурим. При этом я еще все озвучивал музыкальным сопровождением, «ловил» ракурсы видеокамеры и воспроизводил звуковые эффекты...

Мистер Алтман – высокий, сутулый, похожий на Пастернака еврей лет 60, – не перебивал меня, а только одобрительно кивал после каждого эпизода, и это прибавляло мне сил и вдохновения. А когда мое кино подошло к концу, я рухнул в глубокое кожаное кресло с сознанием, что только что поставил своей первый фильм в эмиграции.

– Good! – энергично сказал мистер Алтман. – Отлично! Мне это нравится. Правда, мне это очень нравится! Принеси мне сценарий!

– По-русски? – спросил я.

– Well. К сожалению, я не читаю по-русски. Но ты найдешь переводчика, нет проблем. Сколько нужно иметь времени, чтобы написать сценарий?

Я пожал плечами:

– Написать я могу за месяц. Но перевести...

– Еще месяц. Я подожду, – сказал Алтман. – Мне нравится этот проект. Позвони мне, когда у тебя будет готово. Приятно было познакомиться!

Я выскочил на Бродвей с легким звоном в голове и побежал в НIAS. Был август, и те, кто летом 79-го был в Нью-Йорке, не забудут жуткой жары – даже по ночам. Но у меня все равно не было ни денег, ни времени ехать в НIAS сабвеем или автобусом. И я побежал. До отъезда из СССР я ежедневно бегал три – пять километров, и теперь это пригодилось. Я бежал сначала вниз по Бродвею, потом – по Сорок второй улице, потом – по Пятой авеню. На Сорок второй какие-то негры пытались на ходу продать мне наркотики, на Пятой авеню меня чуть не сбilo такси, а на углу Семнадцатой и Парк-авеню я резко обогнал дюжину полицейских в касках и бронежилетах и перепрыгнул через какой-то полосатый барьер, стоявший между двумя полицейскими машинами. «Хэй! Стоп!» – крикнули мне вслед, но мне некогда было с ними разговаривать, кинопродюсер уже ждал от меня сценарий! И я побежал вниз по пустой Парк-авеню, недоумевая, почему вокруг меня вдруг установилась мертвая тишина. На бегу я посмотрел по сторонам. То, что я увидел, заставило меня похолодеть, несмотря на жару. Оказывается, я налетел на ограбление Сити-банка. В то лето в Нью-Йорке чуть не каждый день грабили банки, и на углу Семнадцатой и Парк-авеню полицейские устроили засаду на грабителей, которые были внутри Сити-банка. Весь квартал был окружен. Полицейские в бронежилетах и касках прятались за машинами, никого не пропуская, и держали двери банка под прицелами своих автоматов и пистолетов. За опущенными жалюзи банка стояли грабители и держали полицию на мушках своих пистолетов. А на крышах окружающих домов лежали и стояли полицейские снайперы... И вдруг откуда ни возьмись – потный идиот перескакивает через барьер и бежит по нейтрально-мертвой зоне неизвестно куда! Я даже кожей почувствовал, как сошлись на мне прицелы их автоматов, пистолетов и снайперских винтовок. Но что мне оставалось делать?

Глядя прямо в дула пистолетов, направленных на меня из окон банка, я добежал до полосатых барьеров на углу Шестнадцатой улицы, перепрыгнул один из них, получил жуткий подзатыльник от какого-то полицейского и влетел в подъезд HIAS – дом номер 200 на Парк-авеню. А еще через минуту я прямо из лифта ворвался в кабинет мисс Копелевич.

– Я выиграл! Он хочет, чтобы я написал сценарий!

– Я знаю. Поздравляю... – сказала она сухо.

Неужели, пока я бежал сюда, этот Алтман позвонил ей и сказал, что ему нравится моя идея?

– Но кто-то должен перевести мой сценарий! Вы заплатите за перевод?

– Мы не вкладываем деньги в кино, – еще суше сказала мисс Копелевич.

– Но это же в долг! Я отдам с гонорара! – Я вытащил из брюк подол рубахи и утер пот со лба и шеи, что вызвало у мисс Копелевич приступ душевной и физической боли.

– Мне кажется, – сказала она, страдая не то от моего запаха, не то от моего успеха у кинопродюсера, – мне кажется, у меня есть работа для вас. Книжному магазину «Харпер энд Роу» нужен грузчик. Подождите, не спорьте! Вы знаете, что такое «Харпер энд Роу»? Это самое знаменитое издательство в Америке. Может быть, там вы найдете себе переводчика...

– Сколько? – спросил я нетерпеливо.

– Сколько – что?

– Сколько они платят?

– Пять пятьдесят в час. И у них там есть переводчики со всех языков...

Я мгновенно сосчитал: 5.50 на 8 на 6 – при восьмичасовом рабочем дне я буду иметь больше 25 долларов в неделю! Если половину откладывать на переводчика...

– Я согласен! – крикнул я. – Я беру эту работу!

Мисс Копелевич быстро написала что-то на клочке бумаги и протянула мне:

– Вот адрес. Пятьдесят третья улица между Мэдисон и Парк-авеню. Завтра в 11.00 утра. Менеджера зовут мисс Родригес. Только запомните: в Америке нельзя опаздывать на апойтменты и положено приходить в костюме, белой рубашке и галстук. Обязательно купите себе дезодорант и примите утром душ. Вы меня слышите?

Я простил ей эту шпильку. Черт с ней! Мы потные, мы не пользуемся дезодорантом «Секрет» и не освежаем поминутно рот мятными пилюльками «Тип-топ», но у нас есть идеи, на которые с первого же захода клюют ваши продюсеры! И мы еще посмотрим, нужны мы Америке или нет!

Назавтра, ровно в 10.30, неся в руках пиджак от шерстяного костюма-тройки, купленного еще в Италии, в нейлоновой сорочке и при галстук, я вышел из сабвея в Манхэттене и, стараясь не дышать, чтобы не потеть, пошел по Пятьдесят третьей улице в поисках книжного магазина «Харпер энд Роу». Магазин оказался в середине квартала, поразительно красивый, с сияющими зеркальными витринами и высокой стеклянной дверью. Я надел пиджак, быстро вошел в магазин и... оказался в раю! Да, в то время каждый дом с кондиционером был для меня признаком другой, райской, роскошной, жизни, ведь мы, эмигранты, жили в дешевом, с тараканами, отеле в Бруклине, мы ездили на сабвеях маршрутом RR – без кондиционеров, а на работу нас брали только на самые низкооплачиваемые места, где о кондиционере нечего было и мечтать. И вдруг – «Харпер энд Роу». Прохлада! Книжки! Тихая музыка! Господи, я согласен начать тут грузчиком! Где ваш менеджер?

Менеджером оказалась красивая испанка – госпожа Родригес.

– Вы говорите по-английски? – спросила она.

– Слегка! – ответил я с гордостью.

– А по-испански?

Я удивился:

– Как я могу говорить по-испански? Я только что из России...

- Извините, но нам нужен двуязычный грузчик.
- Я двуязычный! Я говорю по-русски и по-английски!
- Извините, нам нужен грузчик, который говорит по-английски и по-испански. До свидания.

И она ушла внутрь прохладного книжного рая, а я, обливаясь потом в своем шерстяном итальянском костюме, тупо пошел назад к сабвею. Я пошел по Манхэттену, по его узким колодцам между стеклянными небоскребами, и почувствовал себя маленьким, потным и беспомощным крабом на дне душного аквариума, отравленного выхлопными газами. И все десять лет после этого я пытался выбраться из этого аквариума, выкарабкаться по стеклянным полированным стенам куда-то наверх, наружу, где другая жизнь и другой воздух...

Но теперь, в Бостоне, я жадно вдохнул именно эту распаренную духоту американского континента и прощальным жестом мысленно похлопал по горячим крышам кативших по улицам машин. Полицейский «форд» торчал на углу 9-й дороги, и два полицейских в нем внимательно следили, как я перестраиваю свою «терсел», чтобы войти в поток. Они были похожи на того полицейского, который десять лет назад дал мне подзатыльник на Парк-авеню, но теперь я уже любил и полицейских. Когда вы подписываете завещание, вы начинаете видеть жизнь как бы с той, загробной, стороны. И от этой перемены поле вашего зрения расширяется и перед вами вдруг распаивается вся объемность и пространственность жизни, ее наполненность солнцем, травой, запахами и возможностью простого счастья быть. Например, по 128-й дороге я мог свернуть на Масспайк и укатить в Буффало, на Ниагарский водопад или мог поехать в Атлантик-Сити, а по 93-й – на Кейп-Код. И тут я подумал, что за десять лет своей жизни в Америке я никогда не был даже в Сан-Франциско. А может быть, уже никогда и не буду...

Нет, я не свернул на Масспайк, а с тупым русско-еврейским упрямством поехал по 128-й на север, в Салем, где Лиза сняла дешевый таун-хаус. Я ехал и думал о местах, в которых так и не успел побывать в этой жизни. Я не был в Диснейленде, в Лас-Вегасе, на Гавайях и даже в Атлантик-Сити. Я не был в Африке, в Австралии, в Японии и даже в Мексике. Так на кой черт я еду в СССР?! Чего я там не видел? Очередей за продуктами? Кирпичных рож московских милиционеров? Лязгающих засовов Лефортовской тюрьмы?

Черт возьми, как мне выжить в этой поездке? Как обхитрить гэбэшников и вернуться к дочке живым? Наверное, они не арестуют меня сразу и не станут колоть отравленными зонтиками в первый же день, иначе вся делегация – все тридцать западных журналистов поднимут скандал.

Итак, самое опасное для меня – последние три дня, когда наша делегация будет уже не в Москве, а в Таллинне, столице Эстонии. Да, Таллинн – это для них удобно. Там сейчас заваруха антирусских волнений, и под шумок можно в самый последний день пырнуть ножом в уличной драке автора антисоветских романов или подсыпать ему какой-нибудь медленно действующий яд, чтобы он, сволочь, отбросил копыта на следующий день, уже на западной территории. Значит, моя задача – не есть и не пить ничего в Таллинне!

Я свернул со 128-й в Салем, проехал мимо старого краснокирпичного Музея салемских ведьм, остановился у Смарт-маркета и купил две коробки хлопьев, пять пакетов сухофруктов, две пачки растворимого завтрака и три бутылки «Пепта-бистол»⁶. Если все три дня нашего пребывания в Таллинне я не буду есть ничего советского, а буду только жевать всухую хлопья и калифорнийские сухофрукты, то, может быть, я еще обману КГБ и выживу!

– Только не напивайся там допьяна и не подхвати сифилис у своих любимых русских женщин! – сказала мне Лиза, когда я, обняв дочку, сообщил ей, что еду в СССР.

У Лизы всегда были свои представления о целях моих деловых поездок.

⁶ Средство от желудочных отравлений.

Хотя теперь-то ей какое дело?

Часть вторая

8

В Баку, в городе, где азербайджанцы вырезали сейчас всех армян, в пору моей юности бушевали совсем иные страсти. Группы молодежи празднично стояли тогда на уличных углах или сидели на скамейках приморского бульвара и жадными глазами провожали каждую молодую блондинку или – иногда – брюнетку: «Вах, вот эта хороша!.. Вах, вот эту бы!.. Вах! Вах! Вах! За этой я пошел бы на край света!..»

Мне кажется, что придумывать книги или фильмы – такое же приятное занятие. Идея новой книги вспыхивает перед тобой, как соблазнительная блондинка на высоких ногах, и ты провожаешь ее загоревшимся взглядом: «Ах, вот эту книгу я бы написал!» Порой ты даже бежишь за ней, как воспаленный кавказский мальчишка, и лепечешь-записываешь какие-то глупые или дерзкие слова. Но блондинка уходит, не удостоив тебя ответом, а ты еще и ночью помнишь ее вызывающую походку, абрис крутого бедра и думаешь жарко, как онанирующий подросток: «Ах, я бы начал эту книгу вот так! А потом – вот так!..»

Но утром, вместо того чтобы сесть и писать, ты опять идешь на угол своей будничной жизни и стоишь праздным зевакой или суетно шляешься по бульварам и переулкам своих рутинных дел, и вдруг новая блондинка выходит на тебя из-за угла, как сноп яркого света в темноте южной ночи.

Да, придумывать книги приятно.

И совсем другое дело – выбирать ту, которую будешь писать. Это даже страшнее, чем жениться на красивой блондинке, – это, скорее, как выбрать себе тяжелую болезнь сроком эдак на год, а то и на два. Впрочем, в молодости этот срок короче, молодые писатели болеют своими первыми книгами горячечно, как дети гриппом – с высокой температурой. Но и выздоравливают так же быстро. А вот после сорока болеть труднее – и гриппом, и книгой.

Но если я прав, что написание книги – это тяжелая болезнь, некая форма шизофрении со старательной фиксацией на бумаге ежедневных галлюцинаций, то можно ли требовать от писателя примерного исполнения общественных правил или супружеских обязанностей? И не рискованно ли разрешать писателю воспитывать детей или водить машину? А если он становится угрюмым, скандальным, капризным и депрессивным, можно ли обижаться на него как на здорового человека?

Написать книгу про то, как писатель пишет книгу и как по мере создания этой книги разрушаются его личная жизнь, семья, социальная сфера вокруг него, – вот еще одна блондинка, которая выскочила сейчас передо мной, словно из-за угла, но уже, уже уходит, уходит в тенистую аллею подсознания...

Хорошо (хотя что ж тут хорошего?), если книга, из-за которой развалилась личная жизнь, – настоящая, хорошая книга и интересна читателям. А если это еще и неудачная книга?

Или если никто – ни один издатель – не хочет ее издать? Как себя чувствует автор?

...Я пишу это запоздалое предисловие из робости. Потому что сейчас мне предстоит прыгнуть в книгу. Предыдущие главы были только подъемом к сюжетному трамплину, а когда идешь в гору, то смотришь себе под ноги и не трусишь. Но, поднявшись на вершину, неуверенный лыжник топчется перед крутым спуском и делает петли на горной макушке, притворяясь, что проверяет лыжные крепления. Так и я подхожу теперь к краю обрыва-завязки и в страхе смотрю – неужели прыгну? Но отхожу и завариваю себе новую чашку кофе, откашливаюсь и пишу запоздалое лирическое предисловие, чтобы отложить свой прыжок еще на час, на день...

Но если так страшно написать: «Глава восьмая. Полет в Москву», – то представьте, каково было мне в реальной жизни протянуть дежурному в аэропорту Кеннеди посадочный талон и пройти – самому пройти – в «боинг», вылетающий из Нью-Йорка в Россию!

О, я помню, как это было – улыбаешься, как при прыжке с трамплина, а у самого от страха спина вспотела...

Мы шли...

Мы шли в самолет...

Нет, не так! Понятие «мы» к нам не подходило, мы еще не были тем единым и гордым «We are», с которого начинается американская конституция. Мы даже не были группой, потому что понятие группы предполагает какое-то единство, а мы были просто толпой в тридцать человек и не знали друг друга даже по имени. Все, что нас связывало, – бирки с надписью «International Press Association», которые навесил нам на пиджаки Барри Вудстон, когда мы в очереди других пассажиров подходили к стойке регистрации билетов на Москву. Барри – высокий толстяк тридцати двух лет с живыми темными глазами и пеной светлых кудряшек до плеч – стоял (конечно, в пиджаке, белой сорочке и галстук) возле стойки австрийской авиакомпании со списком в руках, заглядывая в билеты, которые мы клали на стойку. Увидев мой билет, он тут же воскликнул:

– О, мистер Плоткин! Рад вас видеть! Как поживаете? Вот ваша нагрудная бирка. Увидимся в самолете!

Такое же единство было у наших чемоданов – на них тоже висели одинаковые бирки с номером нашего рейса. Так можно ли про них написать «мы, чемоданы»?

Однако другого местоимения у меня нет, а потому продолжим.

Итак, мы, единые только общностью своих бирок, медленной цепочкой шли на посадку в самолет. Честно говоря, я был настолько удивлен своей собственной безрассудностью, что воспринимал эту посадку как полуреальность. Ну подумайте: поедет ли беглый каторжник на экскурсию в свою зону? Или бывший заложник иранских террористов, рассказавший миру о том, как над ним издевались, – полетит ли он в Иран проведать своих стражников?

Я шел в самолет, как дети в Диснейленде идут в зал ужасов – им страшно, но они твердят себе то, что моя дочка, когда смотрит фильмы про монстров: «Папа, don't worry, it is not real [Папа, не бойся, это же понарошку]!» Мне все казалось, что сейчас разобьется какая-нибудь ваза, лопнет окно, рухнет потолок – и я проснусь. Ведь ровно три года – все три первых года пребывания в Америке – мне еженощно снилась Москва. Я иду по улице Горького, а вокруг – люди, но они молчат. Они знают, что я эмигрант, «предатель Родины», но молчат и ждут, когда меня схватит милиция или КГБ. И я жду того же и мысленно шарю по карманам: где же мой американский паспорт? Страх, что я потерял паспорт, забыл, выронил, – этот страх душил меня, и я просыпался с диким сердцебиением, потный от удушья.

А теперь я сам, по своей воле, шел в этот сон.

Весело, как по льду.

И, видно, улыбка на моем лице была такая идиотская, что стоявшая при входе в самолет стюардесса спросила:

– Вы с этого рейса?

– Надеюсь, что нет, – ответил я.

Она заглянула в мой посадочный талон и решила, что я пошутил.

– Yes, you are! – воскликнула она радостно. – 16-D. This way, please [Да, с этого! Ваше место 16-Д. Сюда, пожалуйста].

Ее рука в белой перчатке указала мне проход к креслу в шестнадцатом ряду. Кажется, это было единственное, что я видел в те минуты – только руку в белой перчатке, – ни лиц своих попутчиков, ни лица той стюардессы.

Да, хотя по всем правилам писательского ремесла я уже давно должен был представить вам хотя бы несколько членов нашей делегации (с тем чтобы потом наравне со мной стали главными персонажами этой книги), я не видел в те минуты ни одного лица вокруг себя. И даже когда улеглась суета посадки и австрийские стюардессы, высокие, плоскогрудые и одинаково красивые, как новые карандаши в пенале, стремительно захлопали над нашими головами гнутыми козырьками багажных панелей и возникла надпись: «Fasten Seat Belts [Пристегните ремни]», – я все не верил в то, что это я, Вадим Плоткин, сам пристегиваю себя ремнем к креслу самолета, летящего по маршруту Нью-Йорк – Вена – Москва. Может быть, потому, что у меня еще был шанс сбежать из этой поездки в Вене или я подсознательно надеялся на чудо – мол, в венском аэропорту что-то оборвет этот дурацкий сон.

И только когда при мощном и крутом взлете «боинга» меня вжало в мягкую спинку и накренило чуть ли не вверх ногами, я впервые почувствовал свою обреченность и бессилие перед судьбой.

Хруст закопченного снега под валенками, сапогами, ботинками.

Морозный пар изо ртов в свинцовом полумраке сибирского рассвета...

Темные стеганые ватники, короткие полушубки, шапки-ушанки...

Мятые, серые лица... Колонна хмурых, невыспавшихся мужчин и женщин...

Никаких разговоров, только простуженный кашель, папиросы в стальных зубах, хруст шагов на промороженной улице...

Низкий, тягучий заводской гудок...

То был последний съемочный день в моей жизни, но я еще не знал об этом. В Свердловске, индустриальном центре Урала, мы поставили три кинокамеры в кабину подъемного крана за центральной проходной знаменитого завода Уралмаш и снимали, как утренняя смена идет на работу.

Никаких операторских изысков, никаких сногшибательных ракурсов или съемок в движении. Три статичные камеры и... двадцать тысяч в темных стеганых ватниках и шапках фигур идут на вас из промороженных улиц в свинцовом полумраке сибирского рассвета. А над ними – крыши домов, укрытые коростой снега, прокопченного фабричным дымом. На трех фонарных столбах тускло тлеют желтые уличные фонари, остальные разбиты... И хриплый раструб радиодинамика выплевывает утренние позывные и первые такты гимна Советского Союза...

Юноша-подросток с простудными фурункулами на шее, жуя на ходу кусок хлеба, сбился с шага...

Женщина в мужском ватнике, с металлическими зубами сказала ему что-то злое, матерное...

(Господи, почему у них у всех металлические зубы? От этих свинцовых дымов над Уралмашем?)

А они все идут – темное, простуженное, прокуренное стадо, обреченное на восьмичасовую работу. Они втекают, как зеки в рабочую зону, в широкие ворота с надписью на арке: «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИЗЕ». Слева от них, на кирпичной проходной, – огромный барельеф с фигурами вдохновенных мускулистых рабочих и работниц и надпись: «ПАРТИЯ ВЕДЕТ НАС К КОММУНИЗМУ». А за воротами, на заводском дворе, их встречает статуя Ленина с простертой рукой и еще одна гигантская надпись: «ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ! В. И. ЛЕНИН».

Я стоял в кабине подъемного крана, смотрел в окуляр одной из камер, и жуткое ощущение, что я читаю новый том «Архипелага ГУЛАГ», еще не написанный, но уже запрещенный, росло во мне вместе с мелодией музыки к моему фильму. Нет, вдруг подумал я, никакой музыки, а именно эти плывущие над людским потоком простуженно-бодрые позывные московского радио и до оскомины притворно-возвышенный голос диктора: «Доброе утро, доро-

гие товарищи! Вчера в Кремле состоялось чествование выдающегося деятеля международного коммунистического движения, последовательного ученика великого Ленина, руководителя нашей партии Леонида Ильича Брежнева. В ознаменование его неустанной государственной деятельности Президиум Верховного Совета СССР наградил нашего дорогого Леонида Ильича Брежнева третьей звездой Героя Социалистического Труда...»

А они все идут...

Мутные глаза...

Черные ватники и бушлаты...

Небритые щеки...

Господин Кампанелла, вот твой «Город Солнца»! Я буду держать этот кадр на экране три минуты, четыре, пять, пока жуть всех ассоциаций – с Освенцимом, с «Архипелагом», с «Городом Солнца» – не дойдет до каждого зрителя, не начнет душить его. И это будет рамкой моего фильма, его началом и концом, а вся середина уже снята – простая мелодрама из жизни сибирских рабочих и шоферов на таежных зимниках...

– Вадим, вам срочная телеграмма! – Молоденький администратор, простуженный, как и вся киногруппа, поднялся в кабину крана и протянул мне желтый квадратный бланк.

«СВЕРДЛОВСК ГОСТИНИЦА «БОЛЬШОЙ УРАЛ» КИНОГРУППА
«ЗИМА БЕСКОНЕЧНА» РЕЖИССЕРУ ВАДИМУ ПЛОТКИНУ
ДИРЕКТОРУ КАРТИНЫ КОНСТАНТИНУ ЗАЙКО
УКАЗАНИЕМ ОБКОМА ПАРТИИ ФИНАНСИРОВАНИЕ
СЪЕМОК ВАШЕГО ФИЛЬМА ПРЕКРАЩЕНО ТЧК НЕМЕДЛЕННО
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЛЕНИНГРАД СО ВСЕМ СНЯТЫМ МАТЕРИАЛОМ
ТЧК НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА В 24 ЧАСА ПРИВЕДЕТ К
УВОЛЬНЕНИЮ ВАС СО СТУДИИ ТЧК ДИРЕКТОР СТУДИИ ЛАПШИН»

Я сунул эту телеграмму в карман мехового полушубка – это была четвертая телеграмма: две первые мы с Костей Зайко просто проигнорировали, а после третьей Костя организовал мне больничный лист – липовую справку от врача о том, что у меня воспаление легких. Хотя само появление этих телеграмм и шквал телефонных звонков со студии говорили о том, что нужно спешить снять все, что задумано, то есть потянуть еще съемку хотя бы два дня. Любой ценой! Может быть, даже мне лечь в больницу и из больницы руководить съемками...

Но тут на «козле» прикатил Костя Зайко. Есть два сорта административных гениев в советском кино. Первые – это жулики, которые используют идиотскую бюрократическую систему кинопроизводства для денежных махинаций (например, оформляют съемку многотысячной массовки, а обходятся сотней человек и разницу в оплате кладут себе в карман). А вторая категория – подвижники искусства. Тридцатилетний Костя Зайко был из второй категории, и всю свою молодую энергию он употреблял на то, чтобы мы сделали Кино – именно Кино, с большой буквы. И если для этого нужно было в Якутии остановить работу алмазного рудника и получить на съемки все шестьдесят сорокатонных «БелАЗов», работавших в алмазорудном карьере, – это мог сделать только Зайко. И когда нужно было получить полк солдат стройбата и за неделю построить в тундре настоящий ненецкий поселок, а потом еще и заселить его настоящими ненцами, – это мог сделать только Зайко. И когда понадобилось прямо в тайгу доставить вертолетом из Хабаровска врача-гинеколога, чтобы, не срывая графика съемок, сделать аборт нашей московской актрисе, – это тоже смог устроить только Костя Зайко...

При этом он никогда не присутствовал на съемках. «У киногруппы должен быть один лидер, как в армии должен быть один командир, – говорил он. – Моя задача – обеспечить вам завтрашнюю съемку, а на сегодняшней мне делать нечего». И он свято соблюдал эту заповедь и появлялся на съемочной площадке только в самых исключительных случаях – например, когда я снимал пьяную драку бичей на зимнике (в этом эпизоде принимали участие только

два профессиональных актера, а остальные сорок девять были подлинные сибирские бичи и шоферюги).

Поэтому, когда из кабины подъемного крана я увидел «козлик» Кости, подкативший из бокового переулочка к проходной Уралмаша, я понял: что-то случилось. Я отлип от окуляра и нервно закурил. А внизу Костя выпрыгнул из «козла» и по узенькой лесенке стал торопливо взбираться на подъемный кран. Он был даже без пальто, а в своем стильном двубортном итальянском костюме и в белой рубашке с французским галстуком, которых у него, на зависть всей студии, было три дюжины. И вообще, мой Костя был образцом нового типа советского бизнесмена семидесятых годов – он свободно говорил по-английски, регулярно читал голливудскую газету «Вэрайити», играл в теннис, курил только «Мальборо», носил итальянские костюмы и французские галстуки и два раза в неделю бывал в сауне «Интуриста», закрытой для простых советских смертных. Но сейчас, позабыв о своем импортном лоске и даже о своих кожаных итальянских перчатках, он голыми руками спешно перебирал замороженные стальные ступеньки вертикальной лестницы, а в большой холщовой сумке через плечо он зачем-то поднимал к нам на кран металлические блины – кассеты с кинолентой.

– Ну? – сказал я нетерпеливо, когда его голова достигла дверцы кабины.

– В Питере КГБ арестовало материал.

– Что? Что?

– Час назад на студию приехали гэбэшники, зашли в монтажную и изъяли весь материал нашего фильма, даже шумовую фонограмму, – сказал Костя, запыхавшись.

– А негатив?

– Все подчистую. На нас настучал партком студии.

У меня перехватило дыхание.

– Они отвезли материал в Смольный, Романову, – продолжал Костя и зачем-то глянул на свои ручные часы «Сейко». – Он сейчас его смотрит.

– Кто смотрит?

– Романов, дубина! Романов сейчас лично смотрит материал нашей картины!

– Откуда ты знаешь? – не поверил я.

Романов, первый секретарь Ленинградского обкома партии, был знаменит своей ортодоксальной партийной консервативностью. Я бы сказал, что он был Лигачевым эпохи Брежнева.

– Знаю, – сказал Костя. – У меня свои источники информации.

– Но что он может понять? – сказал я. – Ведь фильм еще не смонтирован, без звука!

– То, что им нужно, они понимают. Мы с тобой через сорок минут вылетаем в Питер.

Питером, то есть Петербургом, Костя всегда называл Ленинград – как многие коренные ленинградцы.

– Я никуда не полечу, я должен доснять эпизод. А потом пусть они меня хоть сажают!

– Ты не успеешь доснять эпизод.

– Почему? У нас есть пленка и допуск на завод.

– Семь минут назад свердловское КГБ получило телефонограмму из Ленинграда изъять у нас всю отснятую пленку и выгнать нас с завода. Они будут здесь через несколько минут. Скажи оператору, пусть разрядит камеры и сунет туда эти кассеты. – И Костя протянул мне сумку с принесенными им кассетами.

– А это что за пленка? – спросил я, даже не усомнившись в точности его сведений. Я знал, что в каждом городе, где мы снимали, Костя первым делом кадрил местных телефонисток. Таким образом вся киногруппа и особенно падкие на любую юбку осветители и ассистенты оператора меньше рисковали прихватить триппер, а Костя Зайко получал бесперебойную связь с Ленинградом.

– Это чистая, засвеченная пленка. – Он сунул мне в руки принесенные кассеты. – Быстрее, Вадим! Мне еще нужно подумать, как вывезти нашу пленку из Свердловска. Нас с тобой будут обыскивать в аэропорту.

– Но какой смысл спасать эту пленку, если весь фильм арестован?

Он покосился на оператора и двух его ассистентов, стоявших поблизости, и сказал мне шепотом:

– Ты имеешь дело со мной, не так ли? – И вдруг впервые за все время нашей совместной работы сорвался на крик: – Я вам приказываю сдать мне всю снятую пленку! Я представитель администрации студии!

Я изумленно уставился на него, а он добавил сквозь зубы:

– Дурак! Делай, что я говорю! Быстро!

Внизу по боковому переулку уже катили к проходной завода две черные «Волги» – верный знак свердловского КГБ. А от здания управления Уралмаша к подъемному крану бежали три каких-то типа. Они так спешили, что, как и Костя Зайко, были даже без пальто и шапок...

9

– Советский – режиссер – должен – знать – на кого – он – работает!

Кулак Павлаша, министра кинематографии, увесисто отбивал по столу паузы после каждого его слова. Костя Зайко сумел-таки вытащить наш фильм из Смольного и из ленинградского КГБ – он сыграл на ведомственных амбициях министра кинематографии, в дела которого вдруг вмешался Романов, «провинциальный» секретарь обкома. Но, как говорится, хрен редьки не слаще. Теперь я сидел напротив холеной морды министра, между ним и мной была лишь полированная крышка его министерского стола, а по бокам от меня сидели Николай Лапшин, директор Ленинградской киностудии, и Станислав Межевой, главный редактор сектора художественных фильмов Министерства кинематографии. Павлаш только что просмотрел материал моего фильма в своем персональном кинозале на третьем этаже министерства, а точнее – ушел с просмотра посреди фильма, после эпизода пьяной драки в общежитии сибирских шоферов. Постукивая кулаком по столу, он синхронно с ударами произносил каждое слово отдельно:

– Даже – иностранные – корреспонденты – уже – не порочат – нашу – жизнь – так – как вы – в этом фильме!.. Кто – дал – вам – право – так – снимать – нашу – жизнь?

– Я снимал по сценарию, который вы утвердили.

– По каждому сценарию можно снять пять разных фильмов. Можно снять, как рабочие идут на работу летом, при теплом солнце, а можно, как вы, – зимой и ночью! – И Павлаш повернул свою бульдожью рожу к директору студии: – Вы что – не видели, что он снимает?

– Эпизод пьяной драки можно сократить, мы предлагали режиссеру... – испуганно сказал Лапшин.

Действительно, еще два месяца назад, до ареста фильма, все руководство студии просило меня вырезать этот и шесть других эпизодов, потому что заранее знали: министр не примет фильм в таком виде. Он просто не может принять его в таком виде, ведь по вечерам в Барвихе, райском правительственном дачном поселке под Москвой, он показывает каждый новый советский фильм своему тестю – члену Политбюро Кириленко и его закадычному другу Леониду Брежневу. Именно по этим фильмам Политбюро судит о жизни советского народа. И когда им показывают, как хорошо, как замечательно живут советские люди под их мудрым руководством, как энергично и самозабвенно строят коммунизм, – авторы таких фильмов, директора киностудий и сам министр кинематографии получают премии и правительственные награды. Но если показать Брежневу, Черненко, Кириленко, Андропову, Романову, Гришину и остальной партийной хунте, что под их «мудрым» руководством страна спивается, голодает, дерется, насилует жен и природу, не верит ни в какой коммунизм и от безысходности и всеобщего вранья снова пьет, дерется и вырождается... – что будет за это министру кинематографии? Так не лучше ли ему самому запретить очередной «очернительный фильм» – и черт с ними, с деньгами, которые на этот фильм потрачены! Эти деньги можно взыскать с киностудии, которая недобдила, не пресекла, не остановила зарвавшегося режиссера.

За семнадцать лет своего министерствования Павлаш отправил в небытие 120 художественных фильмов – и каждый стоимостью в полмиллиона рублей. А про мой сказал:

– В этом фильме нужно сократить все – включая титры... .

– Извините, – мягко начал Стас Межевой, главный редактор сектора художественных фильмов. – Мне кажется, если мы дадим им возможность кое-что переснять и озвучить, чтобы несколько переставить акценты... . – И тут же умолк под бычьим взглядом Павлаша.

– То что? – сказал ему Павлаш в упор. – Что они могут тут переставить? Какие акценты? Каждый кадр этого фильма пронизан клеветой на наш строй, а каждый эпизод – это социальная помойка! – И повернулся ко мне и Лапшину. – Или вы думаете, мы не понимаем, что вы

нам приносите? «Зима бесконечна» – это ведь что значит? Что после хрущевской оттепели наступила бесконечная зима! Вот что это значит! Но мы даем вам деньги не для показа грязного белья нашего общества! Мы даем вам деньги на фильмы социалистического реализма! А вы тратите наши деньги на съемки своих сюрреалистических миражей!

– Это не ваши деньги, – вдруг сказал я. Не знаю, что на меня нашло, но со мной так бывает – в самом неподходящем месте я вдруг могу ляпнуть, что думаю.

Павлаш посмотрел на меня в недоумении, словно не поверил своим ушам. Даже его кулак повис в воздухе над столом.

Межевой и Лапшин с двух сторон больно пнули меня ногами под столом, да я и сам уже понял, что эта короткая – всего из четырех слов – фраза может стоить мне всей кинокарьеры. Но я уже не мог остановиться. Я вложил в этот фильм год жизни, я мордовал всю киногруппу в сибирских и уральских снегах на пятидесятиградусных морозах, я три месяца чуть ли не силой выбивал из актеров, художника и оператора их привычку «сделать красиво» и, наконец, увлек две сотни людей простой идеей «сделать так, как есть». Актеры, операторы, ассистенты, директор фильма и даже осветители поверили мне, и там, в Сибири, на съемках, мы все вместе вдруг распробовали этот наркотик – наркотик создания на экране правды. Не правдоподобия, а именно правды всей нашей нелепой жизни, состоящей из громких лозунгов, повсеместного вранья, водки и вырождения. Да, Павлаш был прав: в нашем фильме ничего нельзя было переделать или перемонтировать. Потому что каждый кадр был самой жизнью, без единой виньетки соцреализма. Но знал бы ты, бульдожья морда, сколько труда вложила киногруппа в этот каждый кадр! Не актеры, а настоящие геологи, бурильщики, шоферы, бичи и проститутки играли себя в массовых сценах за три рубля в день и еще говорили мне спасибо после каждой съемки – спасибо за правду об их собственной жизни! Так неужели я вырежу из этого фильма хоть один метр?

– Я сказал, что вы даете нам не свои деньги, – с упрямым остервенением повторил я Павлашу. – Вы даете нам деньги того народа, жизнь которого мы показали в фильме. И за эти деньги вы хотите получать от нас так называемый «сосилистический» реализм. Но ведь народ-то знает правду о своей жизни. Так зачем же врать?

Павлаш окаменело глядел на меня изумленным взглядом, как на человека, который вдруг свихнулся. А вокруг меня – и слева и справа – вдруг возник вакуум, словно Межевой и Лапшин отодвинулись от меня на километр, как от чумного. Еще бы! Ведь я даже слово «социалистический» произнес под Брежнева!

И вдруг я всей кожей ощутил смысл павлашевского взгляда – ему хотелось тут же, сейчас, позвонить Андропову, чтобы меня увезли в психушку.

Кремлевский барин, он сдержался и не унизился ни до крика, ни до доноса.

– Вы свободны, – произнес он спокойно. И срезанным подбородком указал нам на дверь.

В тот же день все киностудии Советского Союза получили приказ номер 78/612 по Министерству кинематографии СССР. Согласно этому приказу ни одна студия страны не имела права брать на работу бывшего режиссера Вадима Плоткина. А весь материал фильма «Зима бесконечна» был просто смыт.

...Каким-то образом члены нашей делегации обнаружили меня в углу кафетерия.

– А когда вы уехали из России?..

– А вам легко разрешили уехать?..

– Вы уехали один или с семьей?..

– Мне кажется, я читал вашу книгу «Гэбэшные псы». Конечно, я читал! Марта, это мистер Плоткин, он автор «Гэбэшных псов». Ты помнишь эту книгу?

– А почему вы эмигрировали в Америку, а не в Израиль?..

Журналисты, подумал я. Еще минуту назад у них не было никакого дела и они ленивыми мухами слонялись по венскому аэровокзалу. Но вот их ноздрей коснулся запах какой-то истории, и они тут же воспрянули и с удовольствием разминают на мне свое мастерство перекрестного интервью-допроса. Так футболисты, начиная тренировку, пасуют друг другу мяч – в одно касание, несильным ударом.

– Мистер Плоткин, что вы думаете о Горбачеве? Он победит?

– А вы не боитесь возвращаться? У вас там есть родные?

– Слушайте меня! Я поехал в советское посольство за визами для всей делегации, но у них там ничего не было готово, как всегда. И только виза для мистера Плоткина была готова! Ну, я позвонил ему и говорю: «Поздравляю, вы получили визу! Вы счастливы?» Он говорит: «Да». Но это «да» – я никогда не слышал такого мертвого голоса!

– Мистер Плоткин, а сколько вы не были в России?

– Вадим, могу я купить вам дринк? Что вы пьете? Немецкое пиво?..

Я пил немецкое пиво, скупно отвечал на их вопросы и видел, как рассеянное по всему аэропорту стадо делегации постепенно стягивается к нашему столику.

– Хай, можно тут сесть? Я Сэм Лозински, редактор «Милитэри ньюс» Шестого американского флота. Как вас звать?

– Дайана Тростер из «Хантсвилл войс», Алабама. А это мистер Плоткин, он русский эмигрант.

– О, действительно? Рад познакомиться. Что вы пьете, Дайана?..

– Извините, вы из Техаса?

– Нет, Колорадо! Роберт Макгроу, издатель. А вы?

– Мичико Катояма, «Джапан нэтворк ньюс».

– Рад познакомиться. А это мистер Плоткин, он русский. Он не был в России десять лет, а теперь едет с нами. А это Норман Берн, гражданский защитник из Флориды. Что вы будете пить, Мичико?..

– Хай, тут свободно? Я Дэнис Лорм, политический обозреватель. Только что прочел в «Бильд»: завтра в Москве будет первое заседание ельцинской оппозиции. Вы читаете по-немецки! О, конечно, я читал книги Плоткина, я же специалист по России! Нет, спасибо, я не пью алкоголь. Кстати, мистер Плоткин, вы знаете, что ваша книга «Атака на Швецию» до сих пор продается в лондонском аэропорту? Я сам видел неделю назад...

– Мистер Плоткин, меня зовут Ариэл Вийски. Только не «виски», а Вийски. Я из Южной Дакоты, профессор политологии и регулярно пишу в «Дакота кроникл». Скажите, в Москве можно пить водопроводную воду? Вы пили? Но все-таки лучше пить минеральную, правда?

– А какие шансы у балтийских республик выйти из СССР? Вы когда-нибудь были там? Что? Служили в армии в Эстонии? Братцы, давайте сдвинем столы, а то здесь не слышно...

Они сдвигали столики, обменивались визитными карточками и задавали мне вопросы. Шумно встречали европейских журналистов, которые присоединились к нашей группе в Вене, и задавали мне вопросы. Начинали флиртовать с дамами и задавали мне вопросы.

– А у вас есть семья?

– А в Москве менять деньги на улице опасно?

– А вы уже американский гражданин?

– А что вы думаете про русских националистов и про эту организацию, как ее – «Память»?

– Но в Ленинграде воду пить нельзя, правда?

– А вы знаете про шахтерские забастовки в России?

Самые сильные игроки довольно быстро поняли, что из меня не вытянешь материал для статьи, и оставили мяч на поле для игроков среднего калибра. Ведь в каждой группе именно среднее звено рано или поздно определяет своих лидеров и шутов. В нашей группе лидеров

еще не было, а на роль если не шута, то юродивого было сразу два кандидата – Ариэл Вийски, с его поминутными вопросами «а мы не опоздаем на посадку?» и «можно ли пить воду в Москве?», и ваш покорный слуга. И кажется, я лидировал.

– О, Вадим, ваш английский вполне хорош! Если бы я могла так говорить по-русски! Между прочим, познакомьтесь, это мой муж, Грегори Огилви, мы преподаем в «Вильям энд Мэри колледж», Вирджиния. А чем вы зарабатываете на жизнь? Вы пишете в газеты?

– А почему вы не эмигрировали в Израиль?

– А сколько вам лет?

– Вы родились в Баку? Где это – Баку? О, это же там, где национальный конфликт!..

– Вадим, еще пива?

– Как называется его книга? «Гэбэшные псы»? Вадим, а вы уверены, что вас пустят в Россию после такой книги?

– Они же дали ему визу!

– Ну и что? Они могут устроить ему провокацию, как Нику Данилоффу. Вы же знаете КГБ! Я думаю, мы должны о нем позаботиться. Чтобы он там не оставался один. Мистер Вудстон! Барри! Это верно, что у нас назначена пресс-конференция с генералом КГБ?

– Абсолютно! Завтра, в 12.00. И еще, друзья! У нас будет встреча с лидерами русского национально-религиозного возрождения! Но это тайно от КГБ, прошу иметь в виду!

– О, как интересно! Мистер Плоткин, вы когда-нибудь были в КГБ?

– Нет, но собираюсь побывать. Я хочу задать им пару вопросов.

– О чем?

– Одиннадцать лет назад они арестовали мой фильм. Я хочу узнать, есть ли он у них.

– Как это – «арестовали фильм»? Арестовать можно человека, не фильм.

– В СССР можно арестовать что угодно...

– Еще одно объявление, друзья! – крикнул Барри Вудстон. – Внимание! В Москве, в нашей гостинице, я заказал аренду сейфа. Если кто-то имеет при себе драгоценности или ювелирные изделия...

Через час я начал различать, кто из них кто. Конечно, легче всего было запомнить Роберта Макгроу из Колорадо – это был двухметровый голубоглазый и громкоголосый мужчина в ковбойской шляпе, в ковбойских сапогах и с широким ковбойским поясом на белых джинсах. Его пояс и сапоги были декорированы серебряными заклепками, а белая рубашка – цветными вышитыми узорами. И хотя ему было куда больше шестидесяти, онпил, мне кажется, все подряд – виски и пиво, джин и пиво, бренди и пиво... При этом его крупное загорелое лицо совершенно не менялось от количества алкоголя. Правда, по мере нагружения дринками он все ниже расстегивал кнопки на своей рубашке, обнажая медно-загорелую грудь, покрытую седым пушком...

Вровень с ним пила только Дайана Тростер из «Хантсвилл войс», Алабама. Но она пила только водку со льдом, ничего, кроме водки. И в отличие от Роберта после каждого дринка на ее тонком лице выступали белые пятна, а после пятого или шестого стакана ее лицо побледнело целиком и на длинном носике появились росинки пота. Она аккуратно промокнула их салфеткой и заказала себе новый дринок.

Сэм Лозински – стройный сорокалетний, в темном блейзере и строгом галстуке, полковник и редактор «Милитэри ньюс» Шестого американского флота, Норман Берн – невысокий, но крепко сбитый, с живыми бархатными глазами адвокат-защитник из Флориды и молчаливый тяжеловес Джон О'Хаген – мэр города Мэдисон из штата Огайо, пили поровну – примерно один дринок в пятнадцать минут. С такой же скоростью поглощала дринки наша молодежь – шестеро 25-летних журналистов из Вашингтона, Лос-Анджелеса и Торонто, которые еще в нью-йоркском аэропорту объединились вокруг очень симпатичной Моники Брэдшоу, полуфранцуженки-полушотландки с карими глазами и хорошенькой фигуркой. На плечиках

своей кегельной фигурки Моника постоянно носила целую тонну фотоаппаратуры – она была фотокорреспондентом какого-то питтсбургского журнала.

Не больше двух дринок за все время нашей стоянки в Вене выпили администратор нашей делегации Барри Вудстон и совсем молоденький, в джинсах и кроссовках, черный журналист из Нью-Йорка Гораций Сэмсон, который трижды спросил меня, почему я эмигрировал в США, а не в Израиль.

При этом количество вопросов было обратно пропорционально количеству выпитых дринок. То есть больше всех меня допрашивали те, кто пил только минеральную воду, – Ариэл Вийски, профессорская пара Огилви из «Вильям энд Мэри колледж», четверо японцев и похожий на австрийского медвежонка вундеркинд Дэнис Лорм, который, кажется, знал о России абсолютно все – размеры безработицы, алкоголизма, численность КГБ, цифры национального дохода, количество политических заключенных и так далее, вплоть до процентов татарской, шведской и еврейской крови у Владимира Ленина и точной формы пигментного пятна на голове Горбачева.

– По данным ЦРУ, военный заговор против Горбачева невозможен, но консервативное крыло партийной номенклатуры с помощью саботажа в снабжении населения продуктами создает в стране ситуацию, на гребне которой они могут в будущем опрокинуть перестройку...

Вот так, словно по писаному, Дэнис говорил не замолкая и при этом поминутно поворачивался ко мне за подтверждением: «Верно? Вы согласны? Так?..» Даже когда нам объявили посадку, он, наспех досматривая кипу немецких, французских и английских газет, продолжал без остановки:

– Я согласен с вами на сто процентов! Горбачев начал перестройку, чтобы немножко починить старую систему. Абсолютно! Но когда он открыл капот советской экономики, то увидел, что там все сгнило и по всему телу системы – метастазы рака. Однако он сам такой же продукт системы, как Хрущев или Брежнев, и боится оторваться от КГБ и партийной бюрократии...

Под это журчание в окружении всей нашей группы я пошел на посадку в самолет, совершенно забыв, что это последняя остановка перед Москвой. Перед Москвой! Где-то сбоку, поодаль, промелькнула вывеска «Lost and Found»⁷, и я мимоходом вспомнил, что десять лет назад это была первая в моей жизни вывеска, которую я самостоятельно прочел по-английски, усмотрев в ней какой-то скрытый шифр всей своей жизни. Но уже в следующий миг поток нашей делегации увлек меня дальше. И я – так же мельком, с недоумением – подумал, что этот аэровокзал как-то ужасно за десять лет, стал меньше. Но предаться воспоминаниям я уже не успел – мы входили в наш «боинг».

Всего два часа назад мы сидели в нем, разбросанные по всему салону, и выходили в Вене совершенно незнакомыми, разрозненными людьми. А теперь, неся в руках свои недопитые дринки, мы вошли в самолет одной шумной компанией, на ходу обсуждая европейские события, политику Белого дома, роспуск венгерской компартии, рост цен на бензин и еще черт-те что, вплоть до вкуса немецкого пива. И я был в эпицентре этого клубка реплик, монологов, шуток, касаний плечом и паров алкоголя. Не прерывая разговоров, мы расселись в салоне одним плотным массивом, почти бесцеремонно меняясь местами с пассажирами не из нашей группы, и только после взлета я вдруг осознал, что – елки-палки! – я лечу в Москву, в Москву!

Но страха не было.

Я даже с удивлением искал его внутри себя, потом глянул в иллюминатор – неужто мы уже летим? И тут же встретил вопросительный взгляд флоридского Нормана Берна.

– Вадим, не беспокойся! Если что – я буду твоим адвокатом! – сказал он. – Чиирс!

Мы чокнулись. И в тот же миг о наши стаканы ударил стакан полковника Сэма Лозински.

⁷ Бюро находок.

– Имей в виду, Вадим, – сказал он. – Шестой американский флот на твоей стороне!

– Спасибо.

– Вэлл, Вадим... – неторопливо произнес с заднего сиденья двухсоткилограммовый Джон О'Хаген, из штата Огайо. Кажется, он впервые открыл рот за все время нашего полета. Но слова его прозвучали весомо: – Если что-то случится с тобой в Москве, мы просто не дадим им зерно. Вот и все.

Они все говорили «Вадим» – с ударением на первом слоге. Но мне это уже не мешало. Ощущение того, что за моей спиной действительно стоят Шестой американский флот, фермеры Огайо и две дюжины американских, японских и европейских газет (плюс, конечно, эффект нескольких дринок), подняло мой дух почти на ту же высоту, на какой он был десять лет назад, когда я в этом венском аэропорту выносил из советского самолета еврейского младенца.

10

В начале нашего века супергигантская колония саранчи неожиданно перелетела из цветущей Абиссинии в пустыню Джибути, где вся тут же издохла от жары и голода. Французские ученые посчитали тогда, что масса саранчи превышает даже запасы африканских месторождений меди! И никто не мог понять, что же подняло такую тучу саранчи и понесло ее через море не на новые луга и зелень, а прямо на погибель. А русский ученый Вернадский, случайно наткнувшись в газетах на это сообщение, сформулировал наличие особого вида энергии – биохимической энергии живого вещества. Когда эта биохимическая энергия кончается, например у леммингов, они собираются в стада, идут в океан, не могут остановиться и тонут. И муравьи, исчерпав запасы этой энергии, вдруг вылезают из своего муравейника и движутся колонной по амазонским джунглям, пока не сдохнут...

Но это я уже цитирую другого ученого, Льва Гумилева, сына русского поэта Николая Гумилева, расстрелянного большевиками в 1921 году. Как потомок «врага народа», Лев Гумилев еще в юности попал в сталинские лагеря. И вот в 1939 году в общей камере ленинградской тюрьмы «Кресты», сидя на нарах, этот Гумилев размышлял об истории человечества. Почему Александр Македонский пошел в Индию, которая была ему абсолютно не нужна? Что его толкнуло на эту бессмысленную войну, после которой он тут же умер от ран и переутомления? Почему Ньютон отказался от семьи, от потомства, от любимой женщины и даже с гордостью написал: «Я всю жизнь работал ради науки и не пролил ни капли семени!»? Почему Наполеон повел солдат на Россию, которая была ему нужна так же, как Индия Македонскому?

И тут Гумилев с криком «Эврика!» вскочил с нар – он открыл явление, которое назвал «пассионарность». Иными словами, он открыл синдром, который появляется у некоторых людей или даже общества в результате мутации. Но зеки посмотрели на Гумилева как на идиота, и он опять залез на нары и смог рассказать о своем открытии только через 50 лет – в цикле лекций, которые прочел в 1989 году по ленинградскому телевидению.

Я не хочу вникать в тонкости теории Гумилева, но доскажу вам его вывод. По Гумилеву, Македонский, Колумб, Кук, Ньютон, Наполеон и так далее – отступление от человеческой нормы, уроды, плод неправильной мутации и травмы в генах. Травмы, которая могла случиться в результате, например, жесткого космического облучения, выброса солнечного протуберанца, кратковременной микродыры в земной ионосфере. «Все пассионарии – это, конечно, уроды, – говорит Гумилев. – Их устраняет естественный отбор. Но они успевают рассеять свой генофонд и оставить после себя памятники».

Я летел в Москву, не оставив после себя памятника. А с «уродами» Македонским, Колумбом, Наполеоном и прочими пассионариями меня роднило только одно – честолюбие. Честолюбие, которое в Нью-Йорке оказалось сильнее трусости и простого голоса разума. Именно эта сила подняла меня и понесла через океан в СССР. Однако на подлете к Москве, где-то над Брянском или над Можайском, моя духовная связь с Македонским, Наполеоном и другими великими пассионариями вдруг оборвалась. Я тут же понял состояние муравья или лемминга, который со всей стаей движется в губительном направлении. Держу пари: в предчувствии смертельной опасности эти муравьи и лемминги начинают хохмить без остановки. И чем ближе к губительной аравийской пустыне, тем громче шутит саранча. А лемминги с хохотом входят в губительные воды. Точно так же, как я при посадке в шереметьевском аэропорту, когда колеса нашего «боинга» чиркнули по посадочной полосе и за иллюминаторами в вечернем сумраке помчались еловые леса Подмосковья.

– О.К.! Enough! Now I see my lovely Motherland and that is enough for me! Let's go back [Все! Хватит! Я уже увидел мою любимую родину, с меня достаточно! Полетели обратно]! – вопил я, притворяясь, что шучу. – Barry! Tell the captain I'm not leaving the plane! I'll go back

with the crew [Барри, скажи капитану самолета, что я не выхожу на этой остановке! Я полечу назад с пилотами]!

Но когда самолет остановился и я увидел под его крылом двух солдат с автоматами на груди, мне стало не до шуток. Я сглотнул ком в горле и, старательно подбирая английские слова, сказал нашему ковбою из Колорадо:

– Мистер Макгроу, у меня в Москве много друзей, и я везу им всякие мелкие подарки. Но я не знаю, разрешат ли мне пронести столько подарков через таможеню. Могу я отдать вам часть?

– Sure! No problem! – ответил он с легкостью, которую обретаешь только после дюжины пива. И небрежно швырнул мне через проход пустую сумку от видеокамеры.

По моим представлениям, Роберт Макгроу в своей ковбойской шапке, сапогах, да еще явно «под мухой» мог больше всех рассчитывать на снисходительность советских таможенников: в России обожают американские фильмы о ковбоях и с традиционной симпатией относятся к выпивохам. Я достал из-под сиденья свою дорожную сумку и стал горстями пересыпать в сумку Макгроу зажигалки, магнитофонные кассеты, калькуляторы, косметические наборы, женские колготки, баночки с кофе, презервативы, сигареты «Мальборо» и всякую ерунду, которая в Москве – жуткий дефицит.

Между тем все уже двигались к выходу. И только у меня вдруг ослабли ноги – я все не решался встать с кресла и сидел в нем с какой-то глупо-рассеянной улыбкой. Тут Норман Берн тронул меня за плечо.

– Я с тобой, пошли! – сказал он и крикнул вперед, Сэму Лозински: – Полковник, подожди! Ты идешь первым, Вадим за тобой, а я – за ним! Роберт, ты с нами?

– Yes, sir! – Роберт Макгроу браво расправил плечи и плотней надвинул на глаза свою ковбойскую шляпу.

– Let's go [Вперед]! – приказал Берн.

И мы пошли к выходу – в эту трубу, соединяющую самолет с аэровокзалом, – как маленький взвод в атаку.

Прямо за порогом самолета стояли два русских солдата в зеленых погонах и с автоматами на груди. Зеленые погоны – это погоны пограничных войск, а пограничные войска в СССР – это часть КГБ. Держа руки на прикладах «калашниковых», эти два пограничника встречали каждого пассажира каменными лицами и напряженными взглядами, как потенциального террориста.

Но когда я перешагнул порог самолета, маленькая старушка Огилви из колледжа «Вильям энд Мэри» вдруг храбро подошла к этим солдатам:

– Hi, boys! How are you? Can I take a picture of you [Привет, ребята! Как поживаете? Можно я вас щелкну]? – И вскинула свой «Кэнон», отвлекая их внимание от меня, Лозински и всей нашей группы.

– No! No фото!!! – тут же рявкнул старший из них, с лычкой сержанта на погонах.

– Oh, sorry... – сказала храбрая миссис Огилви и с сознанием отлично выполненной миссии пошла за нашим «боевым» взводом.

Мы прошли в коридор и оказались в пустом и плохо освещенном зале, возле двух черных спящих питонов – транспортеров выдачи багажа. Я настороженно огляделся, словно попал в тот же окоп, где когда-то меня уже накрыло вражеским снарядом. Шереметьево! В сердце каждого русского эмигранта это слово торчит, как осколок последней гранаты, брошенной в него на прощание советской властью. Где-то здесь, за стеной, в соседнем зале вспарывали подкладку моего чемодана, прощупывали каждый шов в одежде и сломали буквы в пишущей машинке. Правда, не устроили проверку анального отверстия. Однако теперь, после публикации в двенадцати странах моих «Гэбэшных псов», что они мне устроят?

Впрочем, пока все было поразительно тихо и даже как бы безучастно. В огромном зале выдачи багажа царили полумрак и пустота. Ни нашего багажа, ни таможенников. Даже за витринами Duty-free Shop не было ни одного продавца. Только рядом с этим, уже закрывшимся на ночь магазином сидели в креслах пять русских грузчиков, одетых не в форму, а кто во что. Вытянув ноги и положив их на багажные тележки, они с напускным безразличием разглядывали нас из-под козырьков своих надвинутых на глаза кепок. Я тут же вспомнил рассказы советских туристов об этих грузчиках. Именно они и таможенники шереметьевского аэропорта связаны с московскими рэкетирами и сообщают им, что именно человек привез из-за рубежа в своих чемоданах. Охота идет в основном за компьютерами, звуковой техникой и киноаппаратурой. Получив от грузчиков «наводку», московские бандиты нападают на людей по дороге из аэропорта или являются к ним в квартиры с пистолетами и забирают компьютер, который сейчас стоит в СССР 50 тысяч рублей – четыре годовых зарплаты президента⁸...

Тут, прервав мои размышления, ко мне подошел двухметровый Роберт Макгроу. Он наклонился и сказал так, что эхо прокатилось через весь зал и загудело в коричневых трубах, которыми декорирован потолок шереметьевского аэровокзала.

– Вадим, – сказал Макгроу, – а что скажут таможенники, когда увидят у меня десять дюжин этого добра? Мне уже больше шестидесяти, мы приехали в Россию на девять дней, а у меня десять дюжин презервативов! Что я могу сказать – зачем мне столько?

– Дашь таможеннику пачку презервативов, он пропустит тебя без проблем, – нервно ответил я, оглядываясь на грузчиков. Ведь среди них обязательно должен быть гэбэшник, понимающий по-английски.

– Но зачем тебе столько гондонов? Ты хочешь умереть здесь? – не унимался Роберт. Из-за его громового голоса на нас оглянулись даже две японки из нашей делегации, стоявшие по другую сторону багажных транспортеров.

– Это не мне, – сказал я, краснея под перекрестными взглядами японских журналисток и русских грузчиков. – У меня много друзей в Москве. А согласно советской статистике, в СССР на одного мужчину приходится три презерватива в год! В Воронеже мужчины вообще пользуются надувными шариками вместо презервативов, я сам читал об этом в советской газете.

– Come on! – не поверил мне Роберт. Как все американцы, он считал, что эмигранты всегда преувеличивают негативную информацию о стране, из которой они бежали.

Японки отвернулись от нас, сохраняя на своих круглых личиках бесстрастное выражение, но грузчики продолжали из-под своих кепок рассматривать меня и Роберта. У него через плечо висела видеокамера. Я процедил ему сквозь зубы:

– Держи свою камеру.

– Не беспокойся, друг мой! – пробасил он на весь аэропорт.

Тут неожиданно дернулась лента транспортера и с ржавым металлическим урчанием стала выбрасывать наши чемоданы из черной глотки, завешанной резиновыми языками-полосками. А грузчики продолжали сидеть в своих креслах без движения, держа ноги на багажных тележках. Барри Вудсон подошел к ним, взялся рукой за одну тележку, но хозяин тележки сказал ему коротко:

– No. Rent.

– How much? – легко согласился Барри.

– One rouble.

– Но у нас еще нет советских денег, – растерянно сказал Барри по-английски. – Как насчет долларов?

– No. Forbidden [Запрещено], – так же кратко ответил грузчик.

⁸ В 1989 году заработная плата Президента СССР составляла 1200 рублей в месяц.

Те, кто стоял рядом, досадливо крякнули и сами потащили свои тяжелые чемоданы к выходу с надписью «Nothing to declare». А Барри растерянно оглянулся – его чемоданы даже на вид были неподъемными. Я поспешил к нему на помощь и сказал грузчикам по-русски:

– Ребята, он вам даст доллар. Это же десять рублей!

– Мы не можем, – лениво ответил один из них. – Нам запрещено брать валюту.

– Но откуда у нас рубли? – сказал я. – Мы еще не прошли таможеню! Доллары на рубли можно менять только после досмотра, вы же знаете!

– Сигареты, – коротко бросил сквозь зубы один из грузчиков, и я понял их игру. В СССР на черном рынке пачка «Мальборо» стоит 20 рублей, и для грузчиков такой вид расплаты «сувенирами» безопасней, чем носить в кармане валюту, полученную путем явного шантажа.

Мы дали им по пачке «Мальборо», сами нагрузили свои вещи на тележки и сами показали их к выходу, к будке паспортного контроля. Ни один из грузчиков не поднялся помочь даже дамам, хотя получил за аренду тележки в двадцать раз больше, чем положено. Впрочем, слово «положено» здесь тоже неуместно, потому что тележки эти не принадлежат грузчикам, а выдаются им для обслуживания пассажиров. Но вместо обслуживания они выдумали свою систему эксплуатации капиталистов – не отрывая своих пролетарских задниц от кресел...

– Слушай, помоги хоть японкам! – сказал я одному из этих грузчиков, возясь с чемоданами старой миссис Огилви. Наши миниатюрные японки вдвоем поднимали на тележку один чемодан.

– Да пошли они на х... – небрежно отозвался грузчик, и я узнал голос милой родины.

– Vadim, may I ask you something [Вадим, можно вопрос]? – подошла ко мне Дайана Тростер, «Хантсвилл войс», Алабама. – У меня при себе шесть тысяч долларов наличными. Думаешь, мне нужно записать их в декларацию?

– O God! – У меня даже плечи опустились от досады. – Зачем вам столько денег в России?

– Well, я не знаю. Может, я куплю что-нибудь. Икону...

– Я не знаю насчет декларации, это зависит от вас. Но никогда не носите при себе больше сотни, ну – двух сотен. Остальное отдайте Барри Вудстону – я слышал, что он собирается арендовать в гостинице сейф...

– I see. Thank you... – сказала она с сомнением и отошла. Для меня это был последний повод задержаться в зале выдачи багажа.

Я набрал воздух в легкие и покатил свою тележку к очереди, стоящей перед будкой паспортного контроля.

– Вадим, сюда! – позвал меня Норман Берн из середины очереди.

– Ничего, я тут... – отозвался я не столько из скромности, сколько потому, что именно эта будка паспортного контроля обозначала роковой рубеж – Государственную границу СССР. Господи, сколько раз за последние три недели я прокручивал в уме этот момент перехода советской границы! Что будет, когда сидящий в будке пограничник увидит мой паспорт, где черным по белому записано: «Place of birth: U.S.S.R.»? «Вот он берет мой американский паспорт, – думал я, – видит, что я родился не в США, а в СССР, и тут же набирает мое имя на компьютере. А если у них еще нет компьютеров, листает спрятанную под стойкой картотеку! И конечно, вот он я, в списке: Вадим Плоткин, most wanted man!»

Что произойдет дальше, после того как пограничник найдет мою фамилию в списке людей, интересующих КГБ, я не знал. На меня наденут наручники? Меня окружают и уведут на допрос куда-нибудь в глубину аэровокзала? А может, меня сразу отвезут на Лубянку, во внутреннюю тюрьму КГБ? Или сначала, для проверки моих чемоданов, у меня «найдут» марихуану, кокаин, взрывчатку?

Я мог ожидать от КГБ всего – особенно после того, как мне первому оформили визу.

И, оттягивая переход через этот рубикон, я встал в очередь последним, после двух наших миниатюрных японочек. Но тут из середины очереди ко мне решительной походкой Юла Бринера подошел Норман Берн.

– Come on! Let's go! – сказал он непререкаемым тоном адвоката.

– Но я после этих леди!

– Все все понимают... – процедил он сквозь зубы, решительно взял мою тележку и покатил ее в середину очереди, где стояли полковник Сэм Лозински, ковбой Роберт Макгроу и огайский мэр-тяжеловес Джон О'Хаген.

И только тут я обратил внимание, что вся наша делегация – все тридцать человек! – словно бы невзначай, вполоборота, искоса, исподлобья или через плечо смотрят на меня. Даже те, кто уже прошел паспортный контроль, – даже они не ушли к стойке проверки багажа, а стоят возле будки паспортного контроля и – якобы роясь, кто в сумке, кто в карманах, – держат меня в зоне своих взглядов.

Я не понял, что это значит, и с недоумением осмотрел, ощупал себя и вытер вспотевшее лицо.

О'Хаген положил мне на плечо свою пудовую руку:

– Не волнуйся. Мы с тобой.

И только тут до меня дошло, что они, все до одного, даже те, кого я еще не знал по имени, даже наши миниатюрные японочки, даже зануда Ариэл Вийски, «вели» меня с момента моего выхода из самолета. Так во время второй мировой войны русские солдаты иногда подбирали во фронтовой полосе мальчишек-сирот, кормили их, одевали в военную форму, зачисляли в свою часть «сыновьями полка» и заботились о них как о родных детях. Пятнадцать лет назад я даже сделал фильм о таких мальчишках, это был мой первый фильм, он назывался «Юнга торпедного катера». А теперь, в возрасте пятидесяти лет, я вдруг сам превратился в такого же «сына делегации»...

Тем временем Сэм Лозински положил перед пограничником свой паспорт.

Мы ждали.

У Сэма польская фамилия, но она звучит и как русская. К тому же он полковник американской армии. Что будет?

Но пограничник бесстрастно шлепнул штамп в его паспорт:

– Проходите.

Теперь – моя очередь.

Я вдохнул воздух, словно собрался нырнуть, и шагнул к пограничной будке, положил свой паспорт на окошко.

Полная тишина воцарилась в зале – такая, что даже сержант-пограничник удивленно поглядел по сторонам. Но наши сделали вид, что и не смотрят на него. Тогда он открыл мой паспорт, глянул на фотографию, потом – пристально на меня. Не знаю, зачем американские фотографы просят вас улыбаться даже для паспортных фотографий. Теперь, чтобы соответствовать идиотской улыбке на своей паспортной фотографии, мне пришлось с усилием раздвинуть губы.

Пограничник опять взглянул на мое фото, удостоверился, что я это я, взял правой рукой штамп и шлепнул им по паспорту.

– Проходите.

Я шагнул от его будки, выдохнул воздух и вдруг...

– Hurra!! – раздалось со всех сторон.

Это вся наша делегация аплодировала моему мирному переходу советской границы.

Сержант-пограничник выглянул из своей будки, недоумевающе хлопая белесыми ресницами.

А еще через минуту мы с такой же легкостью прошли таможенный досмотр – таможенники даже не открывали наших чемоданов и сумок, а просто штамповали таможенные декларации:

– Проходите... Следующий... Проходите, пожалуйста...

Встречавшая нас молоденькая гидша «Интуриста» изумленно всплеснула руками:

– Господи, так быстро через таможню не проходила ни одна моя группа! Это, наверно, потому, что вы журналисты! Добро пожаловать в СССР!

– Это потому, что завтра у нас интервью с генералом КГБ, – сказал я ей по-русски.

Она глянула мне в глаза и тут же отвела взгляд – мы с ней сразу поняли друг друга. Генерал КГБ, с которым мы должны встретиться завтра, не хотел, чтобы эта встреча началась с жалоб на таможню, и приказал своим ребятам пропустить нас без помех. Но именно эта легкость, которая изумила даже советскую гидшу, подтверждала мою уверенность в том, что КГБ ведет нашу группу.

11

– Congratulations! You are home [Поздравляю, вы дома]! – Тихий голос миниатюрной японки прозвучал рядом со мной.

– Yes, I am, – сказал я. – Thank you...

– Are you o'key?

– Congratulations!..

Все – даже Гораций Сэмсон, даже Ариэл Вийски – пожимали мне руку, хлопали по плечу и поздравляли.

Да, я был дома. Я понял это вдруг, разом, когда через открытое окно автобуса на меня пахнуло родным запахом теплой московской пыли. Только теперь я вспомнил, что именно этот неповторимый запах возникал в моих первых ностальгических снах о России. А потом, чрез пару лет жизни в Америке, этот запах пропал, я забыл о нем напрочь. И даже не упоминал о нем в своих книгах! И вдруг снова эта теплая московская пыль, смешанная с пухом цветущего тополя и запахом жженого бензина, заполнила мои легкие, как воздушный шар летучим газом. Может быть, для кого-то воздух ничто, простая и даже вредная смесь пыли и газов, но именно эту смесь я вдохнул, когда родился, в этом воздухе я летал в своих детских снах, и этим воздухом я задыхался, когда целовал свою первую женщину. Конечно, есть в мире места, где воздух чище и ароматней, но, извините за патетику, нет для меня места родней.

Правда, здесь меня обзывали жидом... И здесь, точно в таком же переулке, мальчишки поймали меня, шестилетнего, повалили на землю и намазали губы салом: «Ешь, жиденок, сало! Ешь!»... А вот тут, у метро «Сокол», в магазине «Овощи», в двухчасовой очереди за сливами я сделал замечание ленивой продавщице: «Почему вы все болтаете по телефону? Мы стоим уже два часа!» И вдруг вся очередь повернулась ко мне и закричала: «Тебе не нравится – поезжай в свой Израиль!»... И это здесь, в Москве, уничтожили мой лучший фильм... И здесь, в ОБИРе, когда я подал документы на эмиграцию, меня назвали предателем Родины...

И все же нет для меня места родней, думал я, глядя на проплывающие за окном темные улицы ночной Москвы. Я даже снова впал в патетику – что за свойство у этого воздуха и этой земли?

– Congratulations! You are home! – сказал полковник Лозински. – Чувствуешь что-нибудь?

Я пытался заставить себя уснуть. Я внушал себе, что должен выспаться, ведь завтра трудный день – брифинг у американского посла, интервью с генералом КГБ, встречи с друзьями и еще нужно найти какой-то интересный материал для японского журнала, который заплатил за мою поездку.

Но на соседней кровати храпел гигант Макгроу, а за окном была Москва. И я не мог уснуть. Да и можно ли приехать на родину, где не был ровно десять лет, и тут же уснуть? К тому же я только что больше часа просидел у телефона и, несмотря на полночь, обзвонил почти всех моих московских друзей. Правда, оказалось, что половина из них в командировках на Западе или на дачах по случаю выходных. Ведь с приходом Горбачева именно люди моего поколения пришли в СССР к власти, да и сам-то Горбачев старше меня всего на 8 лет. И теперь именно те, с кем я жил в студенческом общежитии и в поисках работы обивал пороги киностудий, стали министрами, руководителями киностудий, главными редакторами газет и депутатами советского парламента. Они обзавелись дачами, машинами, детьми и титулами. Конечно, те, кого я застал в эту ночь дома, тут же кричали в телефон: «Когда ты приехал? На сколько? Мы должны завтра же встретиться!» И я всем назначил на одно время – в четыре дня в ресторане возле Дома кино. А потом, лежа в постели, я все прокручивал в памяти оттенки их голосов,

реплики, вопросы... И невольно думал: а если бы я не уехал тогда? если бы остался? кем бы я был сегодня в России?..

Так провертелся я в кровати час или полтора, а потом встал и подошел к окну.

Сизый московский рассвет чуть проступал на горизонте. Первый трамвай проклацал внизу, в темноте, мимо станции метро «ВДНХ». Слева взлетела к небу подсвеченная прожекторами гигантская пенисообразная титановая стрела памятника космонавтам, которую выстроил еще Хрущев, а московские таксисты прозвали «мечтой импотента». Прямо за станцией метро простиралась огромная, больше чем Центральный парк в Нью-Йорке, «потемкинская деревня» Выставки достижений народного хозяйства. Каждая республика и каждая отрасль сельского хозяйства имеют здесь свои выставочные павильоны, помпезные, как дворцы Шехерезады. Говорят, что Сталин сам дорисовывал башенки и колонны на проектах этих павильонов и собственной подписью утверждал монументы перед ними, включая бронзовую корову перед павильоном животноводства.

Но совсем не этот предутренний московский пейзаж заставил меня одеться и выйти из гостиницы. Справа от нее была не видимая из моего окна улица Довженко. Там, за желтым кирпичным забором, стояли павильоны Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, в которых я снимал свой первый фильм «Юнга торпедного катера». А за ними, на маленькой тихой улочке имени Эйзенштейна, располагался Всесоюзный государственный институт кинематографии – альма-матер всех советских киношников. И моя в том числе.

Я вышел из гостиницы, пересек трамвайные рельсы, миновал метро «ВДНХ» и прошел по сырому асфальту на север, к улице Эйзенштейна. Двадцать пять лет назад, после окончания киноинститута, я проделывал этот путь от ВГИКа до метро пешком почти каждый день, потому что в ту пору у меня часто не было денег на трамвай. И тогда я пешком обходил все московские киностудии, пытаюсь соблазнить их своим сценарием «Зима бесконечна». Но даже в те времена хрущевской оттепели редакторы студий шарахались от этого сценария как черт от ладана. А точнее – как ангел от греха. Натасканным чутьем слуг Политбюро они уже тогда видели в этом сценарии то, что через 15 лет взбесило Павлаша, – правду. Вместе со мной слонялись тогда по студиям еще несколько молодых и голодных сценаристов и режиссеров, в том числе мой сокурсник Стасик Межевой со сценарием об алтайских раскольниках, Сема Шульман (муж легендарной советской кинозвезды Тани Самойловой) со своим эпохальным проектом «Ядерный век» о советско-американской гонке в создании атомной и водородной бомбы, Родик Тюрин с гениальным сценарием «Протопоп Аввакум» о первом русском религиозном диссиденте XVII века, Артур Пелишьян, чей студенческий фильм об Армении уже тогда собрал чуть ли не все международные призы. И Витя Мережко с тремя сценариями об украинском селе. В брюках, пузырящихся на коленях, держа под мышками папки со своими заветными сценариями, мы чуть не каждый день сталкивались в студийных коридорах и курилках, ревниво выясняя, кому, где, что сказали. Чаше всего студийные редакторши заявляли нам, что мы вообще не умеем писать по-русски. Обложив их крепким матом, мы скидывались последними пятаками и шли в буфет пить пиво. В ту пору в студийных буфетах еще продавали пиво, порой – даже чешское! А пропив последние пятаки, мы снова топали через всю Москву пешком: я, Стасик Межевой и Витя Мережко – в студенческую общагу ВГИКа, а другие – по своим московским квартирам.

Теперь я шел той же дорогой и думал: Господи, как разбежались наши пути! Стасик Межевой первый сошел с той волчьей тропы и стал редактором Госкино. Эпохальный проект «Ядерный век» нагло украл у Семы Шульмана один из знаменитых советских режиссеров, и Сема с горя разошелся тогда с Таней Самойловой, женился на какой-то иностранке и уехал из СССР в Австралию. Тюрин лет пять или шесть ходил в ореоле голодного гения и дошел до того, что согласился экранизировать «Целину» Брежнева. Знаменитого армянского художника, о котором мечтал сделать фильм Артур Пелишьян, убили гэбэшники, бездарно повто-

рив сталинское убийство Михоэлса, – грузовиком вклеили художника в стену; на этой почве Артур сам заболел манией преследования. А Витя Мережко, про которого редакторши чаще всего говорили, что он не умеет писать по-русски, стал самым кассовым советским драматургом. Мне же понадобилось сделать три компромиссных фильма, в которых реальная жизнь была упакована в глянцевую обложку социалистического реализма, чтобы усыпить бдительность редакторов и сделать свою «Бесконечную зиму». «Вадим! – говорили мне редакторы. – Как вы могли написать такую ужасную сцену: пятеро подростков пьют вино и играют в карты на деньги! Это же порочит нашу действительность! Нет, эту сцену нужно выбросить!» – «Но смотрите, у меня же написано: они играют в карты, а за ними по улице идет пионерский отряд с барабанами и знаменами! То есть плохих подростков всего пять, а хороших – сто! Даже не сто – двести!» – «Да? К-хм... Знаете что? Давайте так: мы вам разрешим оставить этот эпизод, если плохих подростков будет не пять, а три. Пять – это слишком много для одного города». – «А вы знаете, какова реальная статистика детской преступности в нашей стране?» – «Ну хорошо, Вадим, четыре. Договорились?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.